

Urbi: Литературный альманах. Выпуск седьмой

ТРУДЫ ФЕОГНИДА

Санкт-Петербург, 1996

*Я дал тебе крылья — на них над бескрайним морем
ты полетишь, над всею землей поднявшись,
легкий; ты на пирах и в застолье будешь
у всех и у каждого на устах...*

Феогнид Мегарский
(Перевод Аристида Доватура)

Urbi

Литературный альманах
издаваемый Владимиром Садовским
под редакцией
Кирилла Кобриня и Алексея Пурина

Выпуск седьмой

Нижний Новгород — Санкт-Петербург

ТРУДЫ ФЕОГНИДА

Санкт-Петербург, 1996

ББК 84. Р2
У 69

У 69 **Urbi: Литературный альманах. Выпуск седьмой.**
Труды Феогнида. — СПб., 1996. — 128 с.

ISBN 5-7183-0108-5

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69

Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину

Корректор *Ф. Н. Аврунина*
Компьютерное макетирование
Н. П. Егоровой и Ю. А. Смиренникова

Издательство АОЗТ «Атос»

Лицензия ЛР № 670030 от 16.07 91.

Пописано в печать 13 11 95 Формат 60×90/16
Печать офсетная. Печ. л. 8. Тираж 500 Заказ 529.

Издательство АОЗТ "Атос" 197198 Санкт-Петербург, Б. Пушкарская, 10.

Типография АО "ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева"
195220 Санкт-Петербург, Гжатская 21

ISBN 5-7183-0108-5

© **Алексей Пурин, составление**

1. АПОКРИФЫ ФЕОГНИДА

ПРЕДИСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА

С омерзением, с почти болезненным (воистину — тернии стервеца Стерна!) содроганием своего гетеросексуального (воображение уже рисует прожженных и — вот гнусное слово, с привкусом как бы полупресмыкающейся маринованной миноги, — «поджарых» александрийских шлюх, выкуривающих, одну за другой, свои мускусные, матросские пахитоски) сердца, достойным, кажется, лучшего применения, предаем мы Гутенбергии, а равно Королевству Кривых Зеркал и Обоих Сардиний — изумрудному Дивногорску литературы, этот соблазнительный труд Николая Уперса, оказавшийся в нашем полном распоряжении вследствие центростремительной и непреднамеренной смерти автора.

Термин истового Орландо, вооруженного структурально-дюралевым Дюрандалем и, милль пардон, Олоферном (ощи ишибку!), будучи здесь ни при чем, будучи, более того, притянутым за уши (а хотелось бы мне спросить вас, судари вы мои, к какому такому конкретно предмету «притягивают за уши»; и обратите внимание тут на многозначительное множественное число-с!), — так вот, термин этот (не путать с «терниями»!), несмотря на его средневековую, в сущности, аляповатость и благодаря исключительно имени изобретателя, проясняет, тем не менее, нашу, вашего покорного слуги, роль, служит нам, ему, путеводной звездой. Мы есть «рог» и — по созвучию, но чуть более звонко — «бард». Мы созданы, следовательно, для того, чтобы вострубить — и воспеть автора. И тут мы вступаем в противное противоречие.

Увы, специфика Уперсова сочинения такова, что о сочинителе благообразней было б вообще забыть — умер, дескать, так умер, а само сочинение его не печатать. В худшем случае, всякий сколько-нибудь добропорядочный публикатор не может обойтись тут без того, чтоб не сказать нескольких строгих и назидательных фраз, обращенных к едва оформившемуся молодому читателю, в неосторожные руки которого, возможно, попадет книжка, называемая «Апокрифы Феогнида». С пунцово-постыдным лицом он должен пролепетать

гро(я?)зную речь — если и не о Союзе рыжих, то, как минимум, о Содружестве пегих (искра разума мелькнет в этот миг в умных собачьих глазах нашего пристрастившегося к Эзопову языку спутника), напомнить ряд славных имен — как-то: Кокто, Платон, Харитонов, Вигель, Виктюк... Лебединое озеро раскружит свое сиропно-педерастическое безумие — ах, эти кружевные вздрагивающе-качающиеся серсо; эти фигуры развращающего вращения; этот призывный, пронзительный крик гордо реющего Петра Ильича!..

Но вот вопрос: является ли лицо, пишущее данные строки, таким добродетельным публикатором? Не знаю, не думаю, вряд ли. Ну поглядите на меня в зеркало! «Мне еще не доводилось встречать человека, — скулит, привлеченный за жидкую хошиминку, Конфуций, — который любил бы добродетель так, как любят плотскую прелесть». Bravo, маэстро! Не станем и мы выпендриваться. Плюнем. Пошлем заинтересованного к зевсородым кумирам девятнадцатого столетия. Пусть наполнит слух свой ангельским голоском. Пусть выпьет всю патоку розовой воды, выливающейся из мшистого рта какого-нибудь Ипполита Тэна или Джона Рёскина. Пусть наслушается скушного сумасшествия Вайнингера («Пор и Галактер»). Пусть налюбуется жвачно-сюртучным Штайнером, сфотографированным в позе Венеры, но с рыбьим глазком монкля — гляди: *Волошин Максимилиан*. Коктебельские берега. Симферополь, 1990. С. 151... Нам же скучна эта иппотэнтическая культура; но и читателю, которому нижепубликуемые тексты покажутся соблазнительными и который почувствует нездоровое отвердение какого-либо из своих членов, будь то, на худой конец, лицевой мускул, мы посоветуем незамедлительно обратиться к специалисту-асклепию.

«Хотел бы я быть каламом в его руке или чернилами на его каламе:/ иногда он взял бы и поцеловал меня — это когда к роту калама пристанет волосок» (Ал-Хабзарруззи, X в.). О каком соблазне может идти речь, мой господин, если вы вознамерились пить чернила? Полно! С чего балдеть-то? Особливо теперь, когда Уперс умер («Уперс умер-с» — различаю здесь маргиналию нашего остроумного призрачного приятеля) и рассмотрение его своеобразных пристрастий приобретает отчетливо некрофильский оттенок: впредь его плоть тревожат не мальчики, а личинки. Этими воспаленно-придаточными предложениями, — кто любит попа, кто — поповича, а кто и, стыдно сказать, — попочку, — ваш покорный слуга, не принадлежащий к персонажам, склонным совать сатирический нос свой в специальные области соседской физиологии, и ограничит свои соображения о содержании нижеприложенной книжки. И о форме тоже воздержимся.

Скажем лишь два слова о происхождении текста. Хотя присланная мне покойником Уперсом рукопись и содержит наукообразные ссылки на недоступно-американский источник с курчавым эгейским заглавием — *Apokriphos Theognis. Introduction and Commentary by Elisey Krupan. Serenston University Press, 1955*, — подозреваю, что эти якобы новооткрытые восьмистишия мнимомалоазиатского псевдоаристократа — не более чем очередная, жаль — последняя, выдумка нашего неживого уж друга, умысел Уперса. Оговорюсь, впрочем: суждение мое сугубо (суккубо?) предварительное, профанное — и только научное феогнидоведение сможет внести в этот вопрос должную ясность. Я же ответственности на себя не беру, выступая лишь в качестве очередного передаточного звена. И меня более всего занимает звено предыдущее — фигура сомнительного переводчика — или, если угодно, мертвого автора. Об авторе и поговорим.

Я познакомился с Уперсом на одной из литературско-скотских московских тусовок 1989 года... Ах, говори, докладывай, присовокупляй, ври, шпик Мэмори, мнимая Мнемозина! Нарисуй нам портрет Уперса. Не забудь про усы. Принеси нам персидской сирени. Пригласи наших с Колей приятелей — новозеландца Паулина Рескея и финна Рейнике Ласпу. Что станем пить? Чем закусывать? «Вкусил из тимпана, выпил из кимвал, стал мистом Аттиса». Какую чушь, мамочка муз, ты доносишь!.. Тащи лучше швейцарский паштет, рейнское, зазеленевший сыр из отшумевшей «Березки»... А ты, который и впрямь «по волнам помчался», который и впрямь метафизически «оскопил», ты не скупаешь там по здешней жратве — по шекснинской стерляди и щуке с пером, столь отдающей Шекспиром, Стенфордом, смуглой стервой «Сонетов»? Встречаешь ли там щегольски одетого Пруста? Слились ли там наконец твое монгольское *alter igo* и твое коварное супер-Яго?.. А еще: салат товарища нашего Оливье, салат вассала, не вспоминаешь ли ты?

Только теперь, утратив тебя, ощутив странную пустоту в некоем отсеке своего существа, я начинаю по-настоящему понимать, что в сущности я любил твою насмешливую улыбку, твою речь, от ледовито слепящих острот западавшую подчас в блаженное, нечленораздельное (вот где секрет!) бормотание; любил тоскующее и смятенное выражение твоего лица, с реалистическим скрипом превращавшегося в одухотворенную морду ловца бабочек, когда залетал какой-нибудь беленький гоголек, за которым ты в тот момент волочился. «Когда б он обвил алчные николядвии! — думал я, с состраданием созерцающая твои фасеточные усилия. — Ужель никогда, ник-когда?»

«Звоните мне не позднее одиннадцати, — говорил ты, — телефоны стоят в потенциальных спальнях моих домашних». Или: «Позвольте вас на один парафраз». Или: «Я остановился на проспекте Мороза Тороса»... Какие глупости плавают в памяти, какие мнемозанозы!

Странно сказать, но я, вероятно, любил тебя. Трудно это все объяснить. И к тому же здесь нас подслушивают; могу представить себе, что они, упертые зрачком в строчку, воображают! Закрой рот, не выпускай никому уже не предназначенного тепла. Кто ты теперь? Капитан стонущего корабля, мчащегося на снежном ветру? Как в одном из тоскливых рассказов плешивого Гарика? По морям, по волнам... В моем усталом мозгу, словно в жалком альбоме, сохранились лишь разрозненные бесцветные фотоснимки. Ник-книголюб. Книга Ника. Ночник Ника. Поникший Ник. Уперс, бредущий к пирсу. Уперс, ныряющий с пирса. Вот Ник-именинник, лучащийся зарубежным успехом, стоящий в обнимку с Никой. А вот Николай-нидворай — маленький, жалкий лях-Николайчек, со своей партией мелких хозяйчиков... Ник, помнишь ли обо мне? Шепни мне: «Икни-ка». Или нынче ты — Ник-аноним?

Всё. Смахнем слезу. Закрутим горячий кран. Оставим холодный. Вздрогнем. Покроемся огуречно-литературным восторгом.

...Я познакомился с Уперсом на очередной репрезентации скабрёзно рожаемого помпезного супержурнала презренно-перезрелого русского аванграунда. Как же он, журнал, назывался? «Золотой конец»? «Век Золотого Конца»? «Концепт-рация»?.. Фи, кого там лишь не было! Был тунгусский шаман, состоящий из междометия и скушного имени Мопассана, — диковинка-гном, лелеемый истосковавшимися по Лимпопо Тартаренами — профессорами Сорбонны: «Ай, гигиена!» И заводной Прыщиков, еще не убывший в Гонолулу. И нежнобородый, печальноглазый талмудист-выдумщик Миша Эхблин. И некто, именовавший себя «Дрыговым», с целым выводком прыгающих пригодишек. И сам Цитронов, передравший не одну сотню берберских мальчиков, а главное — лучшие свои коричневые страницы с «Клода-Франсуа» псевдо-де-Сада. И сам щуплый псевдо-де-Сад. И напередзадный Лиахим Восонотолоз, коего всегда видишь в публичных местах, даже библиотеках, разгадывающим тайные символы антимасонского заговора. И сам Гектор Малафеев, вскормленный семенем всех гениев предыдущих веков, тщедушно несущий свою онтологическую невыразимую мерзость. И некая помесь прославленного отечественного пианистического дуплета с царственным африканским животным, демонстрировавшая карточно-философские фокусы. И Тамерлан Кигиб-

ров. И Паша Птенцов — цокающий, словно ценимые им русские жеребцы. И великовозрастный, гигантскоклеточный Конст. Ононов в красной косоворотке. И вороватый Цорокин. Был Дрык. Были Аристов и Пилатов. Был Рыгор Адов со своим «Глистоглотом». И бородач Гелен Инсбрук с голографией удастого своего Беатриса на фронтисписе содомского тома верлибров. Был Дрыгоножченко. Была Иск... Но нет! Поменяем буквы местами, скажем: была Икс, ибо о дамах — только хорошее, либо ни-ни... Был каперс, был джюс. Как оказалось потом, был Уперс. Был — не поверите и правильно сделаете — я. Не было только сказочного Шекспира в смазных сапогах, похожего на усатого писар(ев)ского котофея.

Янтарно-оранжевый эмбрион *gorbie* увяз в кариесной пещере карстового дупла, и когда, после тщетных стараний барботировать его незрелым крымским «игристым», я вознамерился уже применить грубо-механистические методы, а наглые мордастые модернисты лебезили вокруг на всех башенных языках перед всеильными отставными славистами, — вот тогда, по-видимому из-за суетной тесноты и мусийского одеколонного смрада, в мое ребро больно-пребольно уперся костистый кулак Уперса, вернее, того расхлябанного господина, который не замедлил им оказаться, — кулак, содержащий в себе полуупотребленный уже фужер, — ах! — живо очистившийся в промежность моего пиджака и рубашки... «Неопычайно трутно мне фырасить с трепуемой силой этот фсрыф, эту трош, этот толчох страстнох уснафаниа», — скасал пы классик с раздвоенным языком. Вино было льди-стым, но, к счастью, валгалльным.

«Уп?...» — икнул я и выронил припасенную спичку.

«Ес, ес! Николяс Уперс, писатель», — произнес вместо извинения неизвестный, словно насаждая кипарисные тисы вокруг стылого надгробного лабратора. Вероятно, он даже сказал — «*escrivain*»... Нет, нет, «*writer*» он вряд ли бы приложил к своей уперсовской персоне.

«*Zi zind швайцер?*» (Что, полагаю, характеризует быстро пришедшего в норму, сообразительного и едва ли не благодарного за освежение Эго.)

Но, но, он не есть Швейцер, он совершеннейшим образом не швейцар, увы, он не швед и не швец, он, Уперс, если угодно, русский, если на то пошло, Уперс-русак, но, боже, что может быть пошлее национальности...

Мы, конечно, разговорились.

К сожалению, подробности этой беседы напрочь изгладилась из моей слабой памяти. Кроме, впрочем, одной, — мне хочется не упустить даже малейшей крупички, помести по суссексам англоязычной богини, — когда к нам приблизилось

косматое ископаемое существо, напоминающее скорее всего уродливого маркера из телесериала о мистере Холмсе и докторе Ватсоне (пламенный привет эссеистике незнакомого племени!), Уперс спросил заговорщицки (ну и словечко!): «А знаете ли вы имя той музы, которая заведует всем этим подпольем?» Я улыбнулся. «Crivulina», — шепнул он мне на ухо.

Перебирая сейчас в уме свои первоначальные встречи с сочинителем «Апофеог» (так можно было бы ушить удушливо раздувшееся название уперсовской фальсификации, дабы вынести за скобки здешнего бытия хотя бы одну приапическую фиту), я задним числом (что ж за число такое?) поражаюсь собственному нелюбопытству к этому удивительному человеку. Ну, положим, первую скрипку играла тут зависть. Заморский успех Уперса казался мне следствием разветвленного гидо-масонского заговора харонических уранистов, переводящих через пограничную реку (айда, дескать, в айдес!) представителей russkogo приотельного арта, крепко держа каждого за лепесток украинской плоти... Где вы, Тимур и его К⁰? В Ка? Прикрываешь ли там кленовым листом свои гениталии, как делал ты здесь, вооружась пионерским галстуком? Как поживает Квебек, разросшийся из коробочки сталинских скачущих папирос?

В конце того же книжно-журнального года я столкнулся с Уперсом на семиотическом симпозиуме в Симеизе, где Сим, как всегда, мешался с воспоминаниями о яфетической теории, хамством и пьянством — и где Уперс днем позже читал краткое, но впечатляющее на общем пищеварительном фоне («Латентно, ах, Константин Михалыч, латентно!») сообщение «Геодезия Гезиода». Там мы с Ником только раскланялись да обменялись беглыми (ах, колкий Николка!) замечаниями о меценате («Мнится: нате!») — устроителе полунедельного южнобережного кайфа, невинном ректоре винного института — и еще о самом феномене воссоединения винокурения с языкознанием («Куш-марр!»).

Кофий был желтоват, но помню, как оскорбило меня и огорчило, когда, отходя от нашего столика, он сказал: «Вы, Василий, всуньте все это веселье в стихи». Увы, звенящая дребедень липко повисла в бескислородном пространстве: перс, оказывается, забыл, как зовут Лжевасилия, слил нас с каким-то (вообразите!) Василием в своем сумасбродном мозгу. Сколь, сколь мы были оскорблены! Странно, но этот Уперсом спертый воздух, этот лакунный вакуум преследовал нас до самого отъезда из Симбиоза, до самого старта с мыса Сигей. (Хороший, кстати сказать, псевдоним для какого-нибудь велимироеда — Мыс Сигей, а? А вот вариант для дамы — Мисс

Сигей.) Помоечный Земфирополь, созерцаемый нами из одичавшего, ринувшегося в поля троллейбуса, поддакивая, как бы язвил: не верна, не верна!..

Но сами посудите, сударь, с чего бы? Видел его во второй раз, стихов его не читал... Диковинно уже то, что я сразу запомнил это никелиновое, медно-никелевое (Ni + Cu) имя. Стоило ль удивляться тому, что мои «лексика» и «урина» вылетели из его лысеющей головы на ветру, свирепствовавшем между июльской Москвой и декабрьской Тавридой?.. В январе мы свиделись в Ялте.

Но нет, путает, врет writer — то был Гурзуф в ромуле августуле 1991-го...

Впрочем, несмотря на симметрию, месяц еще слыл августом, телерадиовстряска была еще впереди, председательствующий еще резвился и благоденствовал под призрачным колпаком своего маяка. Мы же арендовали клеть на одной из гипотенузных улиц. Уже вторую неделю мы жили в Гурзуфе...

Последняя фраза заставляет меня задуматься о смысле слов. Что значит «вторую неделю»? Следует ли это понимать так, что вот «мы»(?) «живем»(?) восьмой день в этом рычащем и ухающем топониме? Или «мы» тут уже дней, скажем, тринадцать? Существенная, согласитесь, разница. Или, наоборот, речь идет о двух-трех сутках: приехали (прилетели, приплыли?) в субботу, а нынче, глядь, и понедельник настал? С другой стороны, если вдуматься, не столь и важно — три-четыре дня «мы» тут околачиваемся или десять-двенадцать. Жизнь-то курортная — единообразная, выморочная. Но все равно интересно — когда ж и как же «мы» здесь оказались. Еще занятней — что имеем в виду мы, произнося словосочетание «мы жили»...

Догадываешься ли ты, поскучневший читатель, что это отступление я делаю из педагогических (педомагогических?) соображений? Тебе — едва оперившемуся, юному, трепетному, нежноротому, легко формуемому, как теплый воск, — предстоит вот-вот окунуться в опасные воды уперсовской поэзии, кишашие плотоядными и прожорливыми (здесь опять на память приходит мне александрийская гавань) аллюзиями и реминисценциями. Стоит там зазеваться — сразу отцапают. Поэтому не верь, дружище, ни единому слову, нарисованному на бумаге, дрожащему в воздухе. Нет субстанции иллюзорнее слова. Всякое слово ничего ровным счетом не значит, но в то же время тщится означать все, что угодно. Чтение — попытка идти по озерной генисаретской глади. Приманим, умертвим, проанатомируем порхающую цитату:

«В домах своих знатнейших людей, тех, что всегда питаются ячменной мантхой, напиваются они сидху, заедая говядиной, а потом шумят и хохочут. Творят они всякие, какие ни пожелают, непотребства, болтают друг с другом о чувственных утехах; откуда же быть дхарме между ними, прославленными своими мерзостями, испорченными мадраками! <...> Не может быть союза с мадракой, ибо ненадежен мадрака!» (*Махабхарата, Карнапарва*, гл.27, ст.71-84). И еще: «...переправившись через реку Шатадруку, через милую сердцу Иравати, я вернусь на родину и увижу прекрасных женщин ее с большими „раковинами“...» (*Там же*, гл.30, ст.19-26).

Люблю обсосать цитату, как хрупкую и прочную косточку, вылизать каждый ее солоноватый и клейкий нордический завиток, всякую ее скользкую дивную впадину. Какое удивительное наслаждение — длить это языковое занятие, это языкознание, это язычество!.. Но здесь, собственно, и обсасывать нечего. Откуда наперед (передом?) знаем мы непристойность рокайля? Каким образом мы понимаем впервые услышанные слова? И какое же слово в притяннутом нами дхармсовском тексте — самое омерзительное, самое маргаринное, самое жуткое? Ответ мне, дружок. «Говядина», — ты говоришь? Дай я тебя расцелую, дай я тебя обниму! У тебя есть слух. И посмотри, Уперс нам с тобою подмигивает и этак помавает ладонью из своего аттракционного ада.

В предвкушении последнего Одоакра, которому уже некуда отсылать императорские регалии, мы с женой постельничали в одной из точек наклонной плоскости. Жилище, схожее со стереометрической детской книжкой-разрезкой, могло мыслиться и однослойным и многоэтажным. Вся эта структура была пронизана и оплетена. Крикливую, словно Ставрополь и Новороссийск сразу, хозяйку, припоминаю, звали Еленой, а фамилия ейная (*Бр.!*) отчетливо голубела и цыкала, как у собирательницы поваренной книги религий. Невыносимые невинномысские глазки лоснились от упоения усыпительной наглостью. Какие реликтовые пернатые спархивали с ее криворожских уст! Главным йойным чтением была, несомненно, настойчиво ею собираемая летучая паспортная библиотечка — синодик лепт быстроживущих обитателей хламного бахчисарая, до такой степени засорившего кухаркину территорию, что собственно дом, если кипарисный террариум можно назвать «домом», мнился скорей нутряным двориком, по недомыслию — крытым, в котором отвратно журчал фонтан прови(де)нциального телевизора... Прозу, на стильчик чей я сейчас сбился, любят тискать сегодняшние передовые журналы; изюминка тут в этакой, якобы психологической, скукоте ин-

тонации... Махатмы посылали ей рецептурную весть — и она с трепетом стряпала вечерами смрадную гадость, предпочитая баранину и редкоземельные травы, снабженные угрожающе расщепленными стрелами и нечеловеческими кликухами. Овцы, должно быть, трепетали пред ней, и впрямь — Молохом, пугливо бляя, бляя от ужаса радужными телепомехами, еле-еле подрагивая на елейных своих четвереньках — при виде ее ебла в адской области пылающей керосинки. Когда теософка спала на софе, меланхолическое пенье пружин мешалось со свиристением носоглотки и свистом цитат. Звезды поскрипывали, помаргивали, мерцали игривыми померанцами. Ибо электромагнитные волны суть затухающие-тухающие-ухающие-хающие явления. Что там зарегистрировано в Женеве? Чуть собачья! «Мы выходим в эфир на волнах»? Нет никакого эфира. Одна камфора. Один спирт. Распятый арахисовый Христос-Ахиллес, перфорированный во всех предположительно уязвимых местах предусмотрительными фарисеями, перешептывался с шуршащим, шевелящимся, как гадючье перекати-поле, Шивой. Во вшивом саду существовало сплошное шипящее. Трепыхался в селеновом серебре рихтованный мотылек. И затем чтобы второе арийское имя не утратилось рассеянным, словно горох, словно рис, гранулированным, едва ли уже не похрапывающим — эй! — читателем, среди сахарных гималайских головоломок сна, где-нибудь на курьей дорожке, самопроизвольно трещал орех...

А днем мы производили странные тренажи дурного бессмертия — намачивание, высыхание. Авианосец, прикрыв глаза, дремал вдалеке от берега, напоминая грязно-зеленого крокодила. К сожалению, я и мои современники дружно забыли названия чуть-чуть более сложных, чем обычно, цветовых сочетаний. Кто сегодня ответит мне, что из себя представляет женская шляпка цвета «умирающего Адониса»? Палевая изнеженная мошонка Крымского полуострова беззаботно свисала между гористо-бронзовых ляжек Евразии. Какое-то грузинское имя у этого материка. Теперь ляжки его расчесали до крови. Бедные пеликаны гагрипшского парка, плакучие ивы Андрича! От моей бабушки сохранились любопытные членские марки, выпускавшиеся некогда обществом Красного Креста и не менее помидорного Полумесяца. Обратили ли вы внимание, сударыня, что из гастрономов исчезли граненые Близицы — Кастор, наполненный серым кара-богаз-голом («Карабас — гол!» — заорал Буратино), и Поллукс, с кровавой водицей и заштопоренным обломком дюралевого вертолета? Да, весь автоматный томат выпивается нынче там — в потных субтропиках. Грустно все это. Вспоминаю с тоской Алешу Кирдянова, сделанного для тутошней, смутной и зыб-

кой жизни как бы тем, бабушкиным еще, неоднозначным обществом. Каково ему-то, едва ли не дуприродному?.. Но в описываемые здесь весьма отдаленные времена ветроверт еще не пугал, а лишь пригнетал плоть к голямшам наркозного пляжа. Хотелось уже есть, но было почти невозможно встать. «...еще половина второго, с какой стати?» — «Ну, съездим в Никитский, повалюем Ваньку Толстого...» «Уперс», — сообразил я и раскрыл правый глаз. Невыразительный торс Уперса удалялся, преследуемый вопрошающим телом палестинского принца, за неимением головы великана, несущего сумку. Я опустил веко.

Беру обратно своих убогих богов (*Иоан., 1, 1-2*) — свидетель мы с Уперсом все-таки в зимней Ялте. Не удивительно ли, что наши случайные и редкие встречи гнездились в прибрежных скалах, стлались вблизи теплокровного моря — под вкрадчивый шепоток закипающего, словно «Абрау-Дюрсо», прилива, перебивающего и шевелящего мнимые голямши русских шипящих? Предупреждение это, предисловие это следовало б назвать — «*Pontica Upersiana*» (нет, латинской грамматике я не обучен). Вообрази, лезер, вечнозеленый дендрарий январской Массандры — все эти хвойно-секвойные («секс хвой!») запахи, ароматы, парфюмы, эфирукурения... Более деятельный и дальновидный, менее ленивый и безалаберный сочинитель, а особенно немец, вроде ничтожного Зюскинда, будучи на моем незавидном месте, выскочил бы в этот момент из-за стола, вскочил бы со своего письменного кресла и устремился бы во вдохновенном порыве внезапного озарения к книжному шкафу. Но мы читателю доверяем. Пусть он сам, выдернув с полки биологическую энциклопедию, перечтет ее (вот как мы тебе льстим!) от корки до корки. А главное — пусть вообразит баснословно дешевый бездельный элизий в грандиозном интуристском отеле, с одноименным названием, зажатом ботаническими садами, в преддверии Рождества. Полонез Огинского, марш Радецкого, бред Бродского...

Оглянись, оглянись, Суламита, это воспето! И не однажды. И не нами одними. Кипарис зависал, воздух был свеж, море метало стеклярусный лом, волноломилось, кто-то мял пахучую веточку. Лифт слетал в тартар горной породы, вавилонский туннель влек к nereидам... Ялта фри шоп, свободная зона озона, песенки Уперсолъвейг... Безмыслие — золотое, голубое, зеленое, как пиния и ель. И если бы не вымерли лифт-бон, от Ялты до Венеции отель доплыл бы. От балкона и бокала — до пляжного шезлонга. Кипарис, поляк и херес — полная Валгалла! И зеркала соскальзывали вниз...

Ах, эти немцы и американцы! Дизайн и теннис — разве не айдез? Жезл серафима держит в школьном ранце Тадеуш... Вещь в раю теряет вес. Жизнь делается падающей в штольню, парящей... Спи!.. Базальтовый туннель филладельфийских Дельф... И глазу больно — дельфины волн, делириум и хмель... Доассирийский южный ужас хвойный — таблицы птиц и клинопись секвой. Здесь петроглифа пулей дальнобойной вот-вот расколуют мозг стеклянный твой: «Дзинь! Дидуладу...» Палочкой свинцовой, серебряной помянут — и конец. Цинк отогнет рукой однойцовый зеркально-смуглый (цыц, гнильцо!) близнец...

Так пел нам один голос, другой же вторил ему, перебивая (дурной перевод «Ада»?): о своей Италии и Савоие здесь трубит дельфиновая прохлада. Или ели, пинии и секвойи — только лад просодии, дидо-ладо? Только блажь безмыслия золотая, кипариса пористая колонна? И, слезу Овидиеву глотая, не скользим ли в клинопись здесь наклонно? Тут зима разгуливает в сорочке лета. Ялта глупенькая! Ей — года три-четыре. Дразнит. Годится в дочки. И легка, как лен ее кос, погода. «Прыгни с мола в выпуклую медузу», — жарко шепчет на ухо (чуть не к глазу подкатившую... в раковину и лузу, лишь решусь, превращающуюся сразу). Таковы повадки любой Лолиты. Не резон соперничать с Аполлоном... Выстилает кленом сырые плиты — и в бесплодном воздухе так светло нам... И задыхающимся безумным голосом графомана, успевшего отрезать неосторожного редактора от выходной двери кабинета поэзии, добавим: «Клен, клен тут надо читать без ё, без ё!..»

О, эта Ницца! Было невозможно, немислимо уговорить себя, убедить себя в том, что вот сейчас в Дальней Фуле, где палят из полуденных пушек и подковывают сметливую национально-патриотическую блоху, свирепствует, лютует грозный мороз — Мороз IV, Мороз Васильевич, — все если и не цвело, то настоятельно, умопомрачительно пахло, — пахло как бы в долг, и было предельно ясно: когда-нибудь за все эти щедро вливаемые в наши ноздри эфемерные благовония придется всерьез ответить. Полусавой поража́л советское воображение наше бесчисленными кафетериями, барами, подземными переходами: бары прут в бар в барских шубах. Но мы щеголяли в невесомых, пугающих, если заглянуть в календарь, нарядах. Под скалой пустовал огороженный западноберлинской стеной эксклюзивный отельный пляж, вдоль которого мириадами гнездились улитки быстро, на зимний сезон заползшие в свои скальные завитушки. Бассейн ресторана, или, может быть, ресторан бассейна, а правильно было б сказать «ресторан и бассейн», — *это* сервировалось в прозрачной пристройке к главному монолиту Отелло, в последе анонимного

коллегиального зодчего, как если бы интер-Аттила вдруг отеллился, но пуповину поленились обрезать. Разожравшиеся до размеров усатого каприйского буревестника чайки кружились над обильной отельной помойкой. С балкона мы могли наблюдать их величественные, полные необычайного самомнения эллипсы и окружности. В эвклидовых коридорах ржали белокурые бестии, какие-то юнгеры с «вальтерами», вертеры, скоты-экстраверты, застрявшие между югендштилем и гитлерюгендом.

По извиляющейся вдоль пенного афродитогенеза улице имени безвестного дрожащего господина — Дрожинского, Дороженского, Даромжанского? — а то, что не Дзержинского, было специально проверено, — мы брели в полуспящую, сосущую лапу Ялту, не дожидаясь редчайшего, раритетнейшего, существовавшего едва ли в двух-трех экземплярах рейсового автобуса. Купить в известном своей конференцией городке было нечего.

Це ж били каныкули! У Эдэми! Да простит мне Гоголь и весь братский народ такое ласковое подтрунивание над его мовой. Была желевидная лень сознания и вялотекущая шизофрения плоти. Была блаженная свобода валяния особого сорта предметов... Подобно благородным и дряхлым негоциантам влекли мы тела свои в бассейн Сюзанны, в долину кукол, где заставляли наших хронических сотрапезников — поляка и перуанца — неожиданно обнаженными и увлажненными. Оба эти иностранца страдали спортом. Латиноамериканец, удивлявший нас патриархальностью своих разговоров, служил пловцом, а бегуна-ляха звали Кшыштофом, так что Св. Христофор превращался на наших глазах в поборника трезвости и шипел: «Кыш, штоф!» В предбаннике (виноват: в предбассейннике) шелестел шелковый душ, в кокон которого мы, — и пора уже расшифровать это «мы», не правда ли? — запутывались, как бы предвосхищая настоящее однофазное водоплавание; Машевский шурился, я фырчал. И хотя к нашей парочке это никоим образом не относилось, знобкий шумящий шалаш то ошалело ошпаривал: «Ашенбах!», то нежно и шепеляво шептал: «Тадеуш...»

Да, занимательны немецко-польские литературные связи, но меня волнует иное, иной завиток мысли. Отчего же у нас, в России-то, все так пошло и гнусно? Вот даже Тадеуш здесь — не Тадзио, а Фаддей, который, сказано, хуже жида!.. Жуткий, сплошной Фаддей Венедиктович Бенедиктов!.. Как же нам жить тут, как сочинять, как любить?..

Но вот мы с вами славно болтаем — и не замечаем того, что Кола Брюньон (Коля Персик, а по-серьезному — Николай Леонардович Угерс) сидит себе за небольшим исключением

голый (голенький Коленька и его коленки) в гигиенично-пластмассовом кресле возле зеленолонного водоема, исподволь (знаю, знаю!) разглядывая перси, биши, шели и прочие романтические ландшафты по-январски чуть лиловатых купальщиков, — сидит в одиннадцати шагах от той стойки, где мы с М. пускаем соломенные пузыри — каждый в свой морс. Самое время — пока он нас не заметил и пока мы в силах побороть соблазн вынырнуть в его микромир из временного небытия — рассмотреть это тело, впоследствии, как мы знаем, утраченное.

Эй, рисовальщики словесных портретов, ко мне! Хватайте свои сальные карандаши и жирные, волосатые краски! Спешите — часовой механизм неумолкаемо тикает, ваш покорный сапер уже обломал не слушающиеся, дрожащие ногти — все тщетно. Скоро бабахнет. Скоро рванет. Скрипи ж, грифель, хлюпай же, кисть! Поддакивай им, перо! Что нашепчут нам эти неопределенного цвета чуть вьющиеся и уже редющие короткостриженные волосы над невеселым лицом; эти непримечательные и не особенно ухоженные усы скандинавского происхождения — такие, что ими, кажется, впору пользоваться на небольшом морозе, хотя как раз от мороза-то они и не защищают, будучи сами колючими, негнушимися, стальными, кое-где заржавелыми, словно ворс снегоуборочного снаряда? Что разъяснит нам эта рыжевато-серая мокрая шерсть на груди, и уже почти высохший блекло-белесоватый подбор предплечий, и еще грязновато-черно-каштановые потеки на бедрах и голеньях, едва скрывающие травянистое сквозение жил? Что нам скажут глаза — домысливаю? — скорее малахитовые, нежели тускло-дикие? И нерадостный цвет кожи, на которой, чем дальше в лес жизни, тем больше теснится цветных пятен и бугорков, необратимо утрачивающих свою первоначальную шоколадно-рекламную прелесть, приобретающих унылые очертания и отвратительную шершавость старческих бородавок и папиллом? Что это спит в нас до времени, дремлет в нас до поры, сокрытое в глубине эпидермы, пока мы ему не наскучили, не обрыдли, а потом так пугающе вылезает полюбоваться окружающим и — что скрывать — враждебным нам миром? Что еще? Плавки, полусолнечные очки на носу (зачем?), трагический уголок левой, видимой нам губы (прозит, читатель!), идиотская золотая цепочка без ничего, запястье, кисть — с венозной схемой Питера и нелуной циферблата, эт цетера, эт цетера...

Созерцать все это было тоскливо, словно заглядывать в полстекольную ргуть. Я поставил стакан, тут же сросшийся с несухой стойкой за счет таинственных сил поверхностного натяжения из давно выкинутого студенческого конспекта, и подошел.

«И вы, оказывается, в этом ларчике рая, в этом райке?»

Мне улыбнулись. Я правильно указал, что антисоляры Уперса гнездились на его носу: болотный дулет стрельнул в меня не сквозь мулатские пленки, а непосредственно.

«Э, господа петербуржеры... Тут жалкий ларек. Логово сердобольных амареттянок. Я здесь неделю — сущая тошнота. Более собранный литератор уже б набросал свой нобелевский бродденбук — какой-нибудь зауберперл или глассперленшпиль... Такую, знаете, штуку со снегопадом Распе и обрезанием телефонного каббалистического кобеля. Вроде Присти, но не без трансильванского транс... А вы что сюда и на сколько?.. Ну-ну. А мы, собственно, улетаем завтра. Совершенно бесплодное место — растет лишь фабульный чертополох. Хотите, я вам, как Пу это сделал для Го, подарю сюжет для букеровского романа? Вообразите: Кацапская Педерация и Хохланд на почве дележа славянской души и Кривого Рога Орlando тактично обмениваются тактическими термоядерными ударами. Встревоженное судьбами соотечественников Юнеско — так, кажется, называется эта голубиная организация — осеменяет Массандру (и нас с вами) одуванчиковым десантом глазурированных негрят в лазуритовых касках. Писк эфира. Каскад нот и перламутр брызг в брезентовом караимском небе. Противостояние голубых, жовто-блакитных и изумрудных орд Крымской Джамахирии вокруг нашего гостеприимного параллеле-(ну и словцо!)-пипеда. Статус-кво. Гидра эскадры запирает нас с понта; юсатый крайслер, красуясь, курсирует на нейтральной волне. Быстрореагирующая реакция Вассермана. Буря в Бурятии. Спевшиеся гетман и хан цинично требуют от Юнисекса — я опять путаю? — историко-филологической помощи в размере одного миллиарда ста двадцати семи, скажем, миллионов фунтов стерлиговых — по лимончику с носа каждого тутошнего туриста. Вы не устали? Нет? Отель кишит тайными скотнодворцами заинтересованных государств, пересчитывающими ожидаемые барыши и убытки. Горничные отдаются обезумевшим скотопромышленникам за пятьдесят центов, датские докеры приобретают неприкаязных допризывников по таксе — один доллар Юза...»

«Вы, однако, пристрастны», — успел вставить Го.

«За доллар! — настойчиво повторил Уперс, снимая очки. — И вот тут, — Уперс картинно изобразил таинственность, — вот тут появляется Некто — маньяк, монстр, неуследимый убийца, еженощно множащий бесконечную череду бессмысленных жертв...»

«Но, дорогой Николай, — пронизательно прервал его я, — и дураку ж ясно: это московский гебист, который таким образом...»

«Вы пошляк», — Уперс встал с бесстыдно голого пластикового седла, похожего на искусственную десну искусного стоматологического протеза, и в нем — в Уперсе, разумеется, — что-то хрустнуло, а в кресле осталась аквамаринная лужица. «Вы циник, — несколько смягчил он свой приговор («Приговор — ...?»), — с таким же успехом можно предположить, что это карающее оно — Джеймс Бонд: мы подонки, но и они жмоты... Я окунусь... Упс...»

Последнее слово было сказано не Уперсом, а бассейном, — и Уперс поплыл, подводно и лениво разводя локти, влача за собой хлорофилловые искаженные ленты, в которые мстительно превратила его нижние конечности потревоженная среда.

«Кто это?» — спросил за моим плечом М., чей устремленный в лягушатник настойчивый взор я оценил боковым зрением.

«Черт его знает... то есть это Коля Уперс, московский поэт».

На кого походил сейчас Уперс? На Персея, отрезавшего медузью голову? На саму эту голову — с медноокисными волокнами крови? Кровь у медуз — бело-зеленая?.. И лишь на первый взгляд может показаться, что конец моего ответа М. точен, а начало его манерно. Был ли Уперс «московским поэтом»? Трудный вопрос...

Итак, «я окунусь» — и, следовательно, мы не простились. По какой-то неясной причине в своем общении с Уперсом я всегда — даже чуть позже, когда наши отношения приобрели некоторый привкус дружбы и человеческой теплоты, — испытывал как бы церемониальную скованность. Отойти от уперсовского престола было бы противоестественно, стоять рядом с пустым креслом в позе тоскующего местоблюстителя — не менее глупо; поэтому, наклонив демонстративно-гипертрофированный муляж неба немного вперед и позволив Николиной заводи стечь на кафель, я сел, приглашая сосредоточенного до рассеянности мшистого М. — мохнатое полотенце на шее, все еще лабораторный в руке стаканчик для пускания пузырей, чей близнец был поставлен на полированную поверхность накануне русско-украинской войны и уже исчез в неизвестности, по меньшей мере, мыльной посудомойки, — оккупировать соседнее, совершенно сухое сиденье. Тут же располагался столик с аналогичными недоиспользованными сосудами и трубопроводами, где сверх того покоились перевернутые бинокляры с линзами цвета кофе в золотой ложечке, с упругими и сребристыми, готовыми к прыжку прямокрылыми дужками, ревниво нацеленные в сторону своего скучно купающегося владельца.

«И что ж, приличный поэт? Не читал и даже не слышал», — очки при этом были слегка отодвинуты и на их место легла рука, сжимающая цилиндрическую пустоту.

Можно ли сказать, что в ответ я пожал плечами? Пожалуй, для этого нужно быть хотя бы в рубашке, желательнее — в пиджаке. Во всяком случае, я ощутил болезненное натяжение кожи в районе ближайшей к вопрошающему ключицы: лопатка прилипла. Я начал ее отлеплять и уже было полураскрыл рот, чтобы меланхолически произнести: «Ну, знаешь, я сам толком ничего не читал...» Потом я добавил бы: «Но он очень остроумен и, говорят, пишет пристойную прозу. Он преуспевает; его повесть, рассказывают, вышла в перевернутом мире на роскошной, совершенно слоновой бумаге, которая нам с тобой разве что снилась, — вышла, набранная изысканнейшим и ясным шрифтом, без опечаток, со свистящим рыком, разрезанным боем стенных часов при появлении Командора, — в выходных данных и с пискаревской каретой Анны Карениной — на авантитуле: заднее колесо успокоительно крупнее переднего; оловянно-прямая осанка крошечного кучера; очаровательная, бегущая вправо лошадка; в микроскопической рюмочке люльки — игрушечный человечек, должно быть, сам сочинитель-счастливчик — избранник Карла и Клары...» И тогда б М. отпарировал: «Мало ли, мало ли дряни несет на себе красивая американская целлюлоза? Лучше уж целовать лозы, оценивать розы, цитировать фразы. Милее Уганда угадывания, Голландия заглядения, Дания обладания, Суссекс секса, нежели химера Америки...»

Но всего этого не случилось, потому что пальцы М., играющие ничем, заключенным в стекло, неожиданно замерли, вынудив мое зрение совершить шахматный, конско-набоковский виселицеобразный ход, при котором глаза собеседника оказались умозрительно-промежуточной поворотной клеткой, — вернее, пушинка моего внимания, плавно всплывшая до уровня этих глаз, вдруг понеслась по горизонтали, как если бы из них сильно дуло.

«Простите, но это наши места», — смущенно и как-то употельно хорошо пропело райское существо, взволнованно и нетерпеливо осуществившееся в четырех ахах от моего сердца... Черт с ним, с «Ардисом», Уперс! Чего стоят все пропеллеры славы, весь глянцево-гладкий папир, весь прочный клей, если ты сжимал эти дивные ребра, закругляющиеся в смуглую тесноту безумия, если ты видел эти золотые глаза в пугающем приближении, если обнимали тебя эти руки, а эти губы позволяли тебе их целовать, если твои уста спускались по золотистому ворсу — вниз, вниз, проходя все стадии одурманивания вдоль этого повсеместно дышащего сечения — туда, где все темнело, густело, меркло... Ерунда — Проффер!

Это был юноша лет девятнадцати, молодой ангел лет двадцати. На нем имелось: пара пластиковых вьетнамок, минимальная набедренная конструкция (смотри труды Уильяма Сомерсета Моэма), которая удалялась, кажется, без утруждения ног — путем моментального выдергивания шелкового шнура, и серебряная цепочка — в данном случае почему-то уместная, почти облегающая горло. Каждая его рука содержала по хрупкому вафельному колокольчику, наполненному лилово-бело-салатным ледяным бредом... Цвет «испуганной нимфы»?..

«А, познакомьтесь, это Денис. Сбегай, возьми еще два», — профырчал выросший за лампой его плеча обрызганный Уперс, с чресел которого лилась быстрая струйка... Да, подумал я, да, тут есть от чего подпрыгивать и рычать.

Если был бы я повествователем, а не публикатором, то мое перо вывело б в этом месте: «Здесь рукопись обрывается». Что можно добавить? Ну, опять хрупкая дребедень и полонянка-Полония душевой; вытирание, одевание. Ну, пили мы вчетвером полынные воды в баре. Ну, пустой, бессодержательный, ничего уже не значащий разговор: чем вы, Денис, занимаетесь?.. да так, учусь... а читали ли вы в «Синтаксисе»?.. я думаю — да... очень хорошая... разве есть еще какая-нибудь проза?.. еще по одной?.. спасибо, а то у меня сломалась... немного слабые, но ничего... Денис? Денис — молодец... вчера, позавчера?.. кажется, я что-то читал в «Новом мире», может такое быть?.. я с вами не соглашусь... ну и пусть, пошли они все на... что вы думаете насчет коньяка?.. Друскину принадлежит открытие важнейшего философского... ну, завел!.. ты не хочешь еще спать?.. и не обэриуты, а чинари... да, но лучше позвоните через неделю... нет, там все схвачено... Дени-и-ис!.. мы сегодня ездили на дегустацию... так все осточертело... ну да, ну да... уехал месяца два назад..., довольно паршивый напиток... я оставил часы в камере... ого! до свидания... всего доброго... до свидания...

Мы проводили их до двери ступенчато-цифрового номера 369. Утром они уехали.

Но меня, публикатора, больше всего влечет ночь.

Воображаю себе час вымирания телевизоров. Один из бесчисленных, еще не остывших трупов этого биовида — на столе в интересующем нас отсеке. Уперс в халате. На его ясписных радужках — по-вечернему прозрачно-водочные оптические приспособления, спаренные тонким хромом. На устах — косяя усмешка («Уперс-профессор»!). «Будем спать?» — спрашивает он полусонного и полунагого Дениса в шелковых физкультурно-персидских стекающих шароварах, из которых

сзади — в краю пушистого копчика — выбилась рубчатая резинка альпийских сливок. Столь ослепителен хлопок на попке, что хочется хлопнуть! словно не с Уперсом спит, а в персоли. Уперс щелкает по носу пластмассовый выключатель — и на секунду в номер втекает внешняя темнота, но Денис, мгновенно отыскивая на ощупь пипку торшера, возвращает комнате человеческий, лишь чуть прирученный вид...

Воображаю себе также, как совершенно голый и совершенно смуглый — за вычетом размытой незасвеченной ленточки — Денис разметан на Уперсовой постели, словно обильно пролитое туда сильно перетопленное тянучколюбивым подростком сгущенное молоко (дополним тут надоедливый штамп англоязычного нобелевского лауреата и его жалобных эпигонов). Раскольцовывает ли он на ночь свою удушку, или позволяет любить себя в ней? Затылок покоится на смеженных ладонях, локти раскинуты, в подмышечных ракушках бьется темное пламя. Голубоватые жилы просвечивают сквозь морозно-розовый лед на тыльных сторонах рек... простите — рук и ног. Не зевай, читатель, — зима! Зато внешние их поверхности искрятся ослепительным щорсом — как если бы ампирную бронзовую статуэтку кому-нибудь вздумалось почистить наждачной бумагой. Изготовление эротической литературы сродни писанию натюрмортов. Такой же латунный пушок выскакивает из птички ключиц и скользит вниз на салазках моего лексического сумасшествия, устраивая неясные выкрутасы на высоте сосков, орбиты которых овално растянуты гравитационными силами позы, — скользит, лавируя между ребрами, объезжая морские камешки кое-где разбросанных родинок, скатывается в бескостое натяжение дышащего живота и сразбегу перепрыгивает лузу пупка, упоительно мягкого по краям и упруго-плотного в глубине, словно там натянули резину животной самости, особливости, глубже которой другому зайти нельзя. Мое умозрительное безумие лезет туда сузившимся, мерцающим языком, тщетно рассчитывая обнаружить комочек пахучей и липкой грязи. Но нет: Денис десять минут назад прогулялся там мыльным пальцем — и там пахнет сейчас так, как на даче, где вода для полоскания лимитирована, пахнут высохшие на солнце после стирки, сто раз описанные штанишки моего сына...

Вот только не знаю, спасет ли наша с лирическим мальчиком чистоплотность мои рискованные невинно-словесные описания, — спасет ли она их от зловонной критики плохо-подмытых ценителей литературной нравственности? Бог с ними. Мне жаль их, вонючих, и, как христианин, я едва ль не люблю их... «Я и люблю-то, дружочек, тебя, — должно быть, пишет в каком-нибудь девятнадцатом загробном своем герба-

рии кабинетно-уединенный коробейник и нумизмат Розанов, — люблю потому лишь, что пованиваешь ты и серишь, предвосхищая последнее исхождение духа и склепный распад; потому люблю, что умрешь. И потому только, сладенький мой, мне мила ты, что мы оба — мулаты, то есть, прости, сладострастно-слюнявое порождение пакостного скотоложника-серафима...»

...Итак, с разбегу он перелетает ямку пупка, крошечное пустынное озерцо, уснувший до времени кратер (живи долго, Денис!), трепетно нежный наперсток вышивальщика прозы, расположенный в самом центре особы Дениса, — он перелетает судорожную, незарастающую воронку денисородного взрыва, — он перелетает, он, наконец, приземляется — и что же?... Это не он! Разве тот, кого мы встречаем южной нулевой («ой!») точки — наш льяновоусый слаломщик Иафет? Разве это наш стриженный, стремящийся вниз скандинав? Нет, это черный хамит, в страхе взбирающийся вверх по скользкому смуглому баобабу, спешащий укрыться в спасительное дупло. Боже! Что, лежащее там внизу, так испугало туземца? О, ужас! Ленивые кольца стелющегося удава клубятся в конголезском подлеске — вот его змеиная безглазая голова, перевалившаяся через клубень; вот его гладкая обессиленная абиссинская спина; вот полуоткрытый рот с капелькой водопроводной еще влаги и полупроглоченным, еще извивающимся волоском...

И неизвестно как и откуда подползший язык гнусного Уперса (о, когда б не его, а томноокой, зыбкогрудой красотки!) будет гадко дразнить дремлющее чудовище, покуда, раздувшись и одурев окончательно, этот двусредный Левиафан не проглотит и бедолагу Ника, и собственного своего владельца Дениса, и меня, соскабливающего в подходящих, на мой взгляд, местах ненужную белизну с абсолютно черной, как ночь в заднице у Лумумбы, бумаги, и даже Самого Настоящего Автора, внимательно наблюдающего из своего дивного выскока за этим поскрипывающим процессом. Проглотит, изверг, навек, но тут же извергнет — взамен нашей скучной компании — целое Женевское озеро потенциальных существований, целый вероятностный городок — желательно где-нибудь в Альпах или на Ривьере (постарайся, Денис, потрудись!), — целое карликовое княжество Левенгук со всеми его хвостатыми жителями, — выплеснет весь мгновенно-временной сгусток мнимых земных жизней, чьи умозрительные наслаждения, чья суммарная, не рассчитанная на одного телесная радость сейчас же и разрядится, взорвется в жилах, железах, залежах живота, в жалюзи звончато-звенчатого позвоночного мозга, в орешке, в горошке ахнувшего, умирающего Дениса...

Сейчас я его без труда воскрешу, ибо еще и еще воображаю Уперса, — скажем, когда он, с дозволения снисходительного и живописно разбросанного по забрызганной простыне Дениса, занимается оологией — да столь усердно, да с такой настойчивой страстностью, словно всерьез собирается написать новую главу, неизвестный до него раздел этой дважды-окающей, округло-двуоблой науки — «Яйца млекопитающих и человека». Осторожные пальцы подопытного перебирают завитки исследовательской плешки, левая кисть юноши забылась в вогнутом и тенистом левом паху...

Вы поинтересуетесь, господа, как я все это объясню? Нечего мне вам сказать... Несколько дней назад, в подражание уперсовским восьмистрочиям, написал я беспомощные стихи. Они перед вами:

*Ищут, ищут ангела с мужскими
Признаками. Звать его: Денис.
Рост: сто девяносто. Под какими
Пальмами гуляешь? Дозвонись!
Двадцать лет. И родинка на горле.
Слева на груди — еще одна,
Под соском... Не верю! Невермор ли
Не лизну я этого пятна?*

Жалкая, конечно, подделка под настоящую уперсовскую лирику. Но мне кажется почему-то, что если этот брошенный в ручей пузырек найдет адресата, Денис — единственная известная мне живая нить, связывающая Уперса с покинутым им миром, — обязательно позвонит. Стараюсь не занимать телефона. Сколько всего мне хотелось бы от Дениса узнать! Еще я подозреваю, что если ведь захочу, то и — несомненно! — лизну. Возможно, то есть не «возможно», а «точно» — не здесь. Там. Но там точно — лизну. И вы, не удивляйтесь, лизнете. Потому, что там будет всё. Там, где сейчас мой друг Уперс. Там, куда мы с Денисом придем, если постараемся. Там, где стелется милая сердцу средиземная Лотарингия Валерильке, кипарисный Эльзас лазурного морского валгаллища, где царит острый сумрак и где гений осмыслен. Там слышно донное дуновенье Дуино, трепет и шелест Триеста. Туда не долетает низменный треск. Там туча без дуче и море без Маринетти. Гораздо западней Югославии — этой лаборатории по переливанию крови, кровопусканию. Все скулы, скалы, оскалы Дракулы — лишь клыки конторского дырокола. Там нет дыроколов. Там, заглянув в окуляр микроскопа, я увижу, как зыряне и чукчи несут с базара Анакреонта и Тютчева, а некоторые — вообразите себе! — Уперса. Уперс, приложив зрачок к линзе после меня, чуть покраснеет...

Вот и все. Последний раз мы виделись с Уперсом в конце февраля и разговаривали на протяжении без малого пяти суток. Но это совершенно особая история, над которой я пока не решаюсь приподнять занавески.

В мае я получил письмо.

«*Heiß cher*, — писал он, как всегда, на своем очаровательном волапуке. — Вы, вероятно, слышали, что я отбыл на вечное поселение в *Deutschbundesreich* и, подозреваю, воображаете, что я пожираю на каждом углу пухленьких жителей Гамбурга. Увы, Зимняя Сказка окружила меня стерильными снежными санитарками и санитарками, в основном — темнокожими, и лазоревым лазаретом. Есть два-три очень хороших (речь, конечно, о санитарях. — *А.Л.*), один из которых, снисходительно уступив назойливым просьбам больного русского натуралиста, продемонстрировал мне прелестную родинку на своем африканском плече. Меня очень заинтересовала колористическая проблема пигментных пятен на негритянских телах. Удивительно, но созерцание — и обоняние — плеча юного Ханаана породило во мне ностальгическое переживание: мне остро захотелось прикоснуться губами к поджаристой корочке ржаного детского хлеба, втянуть содрогающимися ноздрями этот родной запах. Вижу уже скупую — известно, какую — слезу в уголке вашего глаза. Да, пожалейте меня! Вы не поверите, но я прежде, а теперь это, видимо, невозможно, не имел дел ни с одним меньшим, как сказано в Писании, братцем. У меня просто кружится голова, когда я сейчас представляю себе эти навсегда упущенные цветовые возможности: соседство эпидермы и слизистой, или, скажем, флуоресцирующее жемчужинойизвержение на такомкофеиновом фоне... Ах!.. Что остается мне, Алексис, кроме того, как упросить Яка показать мне как-нибудь во время его ночного дежурства свой гаитянский сосок? Род розоватой Гекаты на глади арабского аромата? На что больше похоже зерно ислама — на попку готтентота или на его пипочку? Завтра же набросаю несколько гениальных строк — Лимонов покроется плесенью, Померанцев позеленеет.

Кстати, о неграх. У меня есть к вам, геноссе, одно дельце. Посылаю вам рукопись, которая жжет Уперсов брючный (к слову, я теперь лишился и брюк) карман. Жжет еще потому, что д-р *Pilülken* весьма низко оценивает жизнеспособность моего металлического организма... Нет, милейший, не догадаться! Увы, пошлые почки. Я, извольте полюбоваться, почку-любовать... Так вот, не найдете ли вы возможным анонимно опубликовать сей переводной манускрипт в России, — как, помните, арапчонок тиснул Виландову «Востолу» в пересказе скромняги Ефима Петровича Люценко? Лючия будет вам не-

имоверно признателен и обещает по мере возможности предпринять там все необходимое для вашего здешнего процветания и благоговенствования. Речь, разумеется, не о марках, а об иных знаках.

Хорошо б, если б вы поторопились с ответом. Ихь, кажется, штербе. И знаете, это вроде крупного лотерейного выигрыша: легко поверить в гипотетическую возможность; нелегко в то, что вот-вот это получишь.

У меня есть ощущение некоторой недосказанности, но поскольку именно ваш адрес я вчера начертил фломастером на громоздкой картонке с разного рода рукоперсами, то оно, боюсь, ложное. Страшусь, что эта посылка, вероятно не слишком заставляющая себя ждать, напомнит вам **рыбный** супчик Демьяна. Просящий за это прощения,

ваш *Фениморс Купер*

Hamburger, 13 апреля 1993 года».

КНИГА ПЕРВАЯ

1

Кири, малыш, приветик из Мегары,
где, как воск, от зноя тает мрамор.
А на море — ветерок, «гагары»
(как бы выразился утконосый варвар)?
Сотню раз на дню Пандорин ящик
отворяю, шарю — нет ли в сотах жести
весточки... Лютее туч палящих —
чтение о Пиладе и Оресте.

2

Разлюбил? И чью-либо лесь, потупясь,
весь пунцовый, слушаешь?.. У, козлищи!
У, Приапа пляжного плешь и супесь!..
Запылившийся пол моего жилища
забывает пробежку арбузных пяток,
по ладошкам жарким скупают книжки.
Что читаешь? С кем водишься? Как мне гадок
он!..купаешься? Прыгаешь с шаткой вышки?

3

Кирн, ты войлочный, надеюсь, тешишь мячик,
 а — не лысый, костяной. Проверю руки —
 не в мелу ли? Это — пагуба, род скачек.
 Тут промашка жить учившего в разлуке.
 Эти грумы в кепи, эти бильярдисты,
 эти дачники, ты знаешь, мой карасик,
 мягко стелют — только жестко спать, нечисто.
 Кстати, цел ли каучуковый твой таджик?

4

Кто он, Кирн, — старикашка патлатогрудый,
 или подлый молодчик легковолосый —
 нагло пользующийся чужой посудой,
 лапу тянущий к чашке чужой без спросу?
 Или это — баба, стручок незрелый
 норвящая слопать поганым брюхом?..
 Не сердись. Что не ляпнет от страсти белый
 Феогид, остающийся верным другом.

5

Все молчишь? Чем занят миндаль болтливый,
 язычок бескостный, ленивый пальчик?
 Все не пишешь?.. Сегодня под нашей сливой
 с Анафесом виделся, — славный мальчик.
 Не кислее Кирна. Пригож, занятен.
 Будешь дальше отмалчиваться — запомни:
 вышлю звездный атлас родимых пятен
 Анафеса. Вычислишь — каково мне.

6

А еще заходят ко мне то Денис, то Элис,
 то сметливый Тирсис. Вчера вот были.
 Как бы, Кирн, молчальники не приелись.
 Вас, вихрастых, здесь — что дорожной пыли.
 Что ни шаг — медовый пушок под нежной
 мышцей с рытвинкой оспы: зови и тискай!
 Белозубых улыбочек рой крошечный.
 И т.д., и т.п. Не тяни с отпиской.

7

Подловил нас каверзный хлопчик, пальчик
с тетивы спустил, ухмыляясь, — сучий
сын!.. Не мею, млею, томлюсь. Как мальчик,
теребящий пыл свой... Печальный случай.
Не могу уснуть от его укуса —
и стихи, сплетаясь арабской вязью,
словно плющ ветвятся, от мысли, вкуса
отпадая — к образу, к безобразью.

8

Голубиной люлочкой с губ «люблю» ли
соскользнет твоих? Не несет письма
голубок ленивый... В льняном иколе
телефоны сводят меня с ума.
Ах, как много на улицах ладной плоти,
славных уст! Незримы, увы, лишь те,
что мне шепчут: «Здрасьте. Ну, как живете?» —
в бестелесной, призрачной пустоте.

9

Я тому завидую, чья ладонь
твой горячий, стыдный сжимала пыл,
кто сырой, ночной, нефтяной огонь
твоих глаз, мерцая зрачками, пил.
Ах, как я бы, милый, тебя ласкал —
изо всех трепещущих, нежных сил!
Слаще дивного пенья любых Ла Скал.
На волнах качал. В облаках носил.

10

Угольные очи перед каждой
станцией, вздыхающей тугим
воздухом, смежает, словно жаждой
жалобной по желобу гоним,
этот поезд, недра Ген роя...
С кем сравню? С тобою, Кири! С тобой!
Та же Троя ратного героя —
вечный бой. Покой нам снится, боу.

11

Только снится... О, если б ты знал,
 что рождает мой мыслящий ил —
 этот сладостно-липкий накал,
 этот трепетно-стыдный распыл!..
 Как хочу я... как я бы хотел,
 чтобы лютый кентавр-материк
 сократился до льна между тел,
 чтоб мой жар в твою кожу проник.

12

Евразийская чудится стать.
 Знаю: ты в наказанье мне дан
 за слова... О, когда б распластать
 вдоль тебя мой соблазн, мой платан!..
 Небом стать я хочу, как Платон,
 чтоб ресничною вечностью век
 вековечно в твой дальний затон
 многооко мерцать, Улугбек.

13

«В смерти моей прошу винить белокрысого
 сорванца, с сиаемскими абрикосами
 и смешным тритончиком... Как он пишет,
 из трусов все это вытаскивая, соря раскосыми
 искрами золотистыми, громкую лопушину
 ошарашивая, ошпаривая, пританцовывая, балдея
 на струне, улыбочку лягушиную
 до ушей растягивая и рдея!»

14

Завтра выезжаю. Трансмалоазийским. В пять.
 Может быть, письмо вперед меня поспеет?
 Комнату сними. И приходи встречать..
 Третий день у нас противный дождик сеет.
 Мрамор храмов — синеват, зеленоват.
 Демократия тепличная убита, —
 как всегда, болтают: «Климат виноват».
 Небо — в старческих узлах тромбофлебита.

Помню, в детстве с бабушкой ехал этим
бестолковым поездом, полным стонов,
скрипов, вздрагиваний. Словно львиц по клетям
рассадили... Вергилий ночных вагонов!
Похотливый шорох — в соседней клетке
и болотный ил — в ледяном окошке.
Ремешки. И бабушкины таблетки.
Болтовня спиритической чайной ложки.

Ну, привет. Отставь саквояж. Вот связка
книг — неси, если хочешь. Как видишь, целым.
Снял отдельно? Но близко? К чему огласка.
Молодец. Загорел, а уехал белым.
Скоро, скоро сравним. С эталонной попкой
ахиллесовой. С фотобумагой тайной,
в темноте вынимаемой... Этой тропкой?
Далеко еще? Близко? Вон там? За чайной?

Здесь направо, Кирн? А эта ведьма, что ж, хозяйка наша?
Очень мило... эта вымершая рыба.
Ну и гнездышко ты свил нам, птенчик... Здравствуйте, мамаша.
Феогнид, ваш постоялец. Что? Вот именно. Спасибо...
Ладно, ладно, что ж теперь-то размусоливать и ахать.
Сколько просит хоть? Полдрахмы?
Что — полдрахмы, стерва, в сутки?
Потрясающе! Не знаешь, есть ли теплая вода хоть
тут? Что — душ? Где? В той обрушившейся будке?

Под кипучий шатер! В торжество Себастьяновых стрел!
И амуровых! Вроде ежа — я. Скважу чересчур
и все шаткий шалаш не отлажу: как милый пострел —
то ледышка, то жар, то он мячиком скачет, то хмур...
Молодой флорентинец так мыльную держит пращу,
как ты эту мочалку. Прости, но сегодня, дружок,
я тебя в ослепительный, стынувший сноп не пущу —
пусть останется знойный, курчавый, живой запашок.

КНИГА ВТОРАЯ

1 (19)

Ну, ложись, ложись и среди подушек
полистай журналчик глянцевоый, где техасок
северяне клеем расстреливают из пушек,
не жалея бумаги плотной и ярких красок.
Мне особенно нравится эта вот — вроде торта.
И вот эта: пальмовый пляж атолла
и две парочки задом (один — почему-то в шортах)
точно надпись дутая «Coca-Cola».

2 (20)

Пир — стрекозам трепетным сероглазым
и горячим карим ресничным пчелам!
Талой льдинкой плавает слабый разум
в этом женско-мужском, загорелом, голом
платовизме: Юджина или Джима
я хочу? Вирджинию? Розалину?
Или сразу юность всю — одержимую,
про ребро забывшую и про глину?

3 (21)

Даже больше Юджина я хочу, чем
Розалину, ставшую на колени
и раскачивающуюся на бамбучьем
изумленьи, мленьи его, томленьи.
Даже больше — Джима (штанов в помине
нет — и «la» детсадовское отпето),
Джине, Джине делающего, ах, Джине
в такт волне накатывающейся влупетто.

4 (22)

Вижу, вижу — глазом косишь туда, где,
словно лев с ягненком, лежат в эдеме
(состраданье в жарком дрожит смарагде!)
Джим и Юджин — голые, на тандеме...
Вот бы, вот бы Юджина нежить сзади,
одуреть бы в пальцах бесстыжих Джимми —
и, быть может, в полной, сквозной усладе
замереть, расплавиться между ними!

5 (23)

Розалина-всадница, жеребца-
Джима жадно мнущая между ляжек:
влажный цокот, липкая цель, пыльца,
оглушенный всхлипами южный пляжик,
малолетний ельничек... Завиток
с завитком свивается то и дело...
Электролиз? Словно бы сильный ток
пропустили боги сквозь оба тела.

6 (24)

Сада сады — поза и Роза,
лозы и лазы... Прозу листай! —
В каждом завое — слезы Делеза,
грезы Гренуя, бартобатай...
Сены солома. Рона — из крана.
Сербскохорватский Ираноирак.
Раны Вероны. Сперма Урана.
Афродитийский роящийся мрак.

7 (25)

Словно свист пернатый в груди увяз —
и психея Стикс переходит вброд,
а Эрота Танатом звать как раз...
И глаза — любовь. И конечно — рот.
И конечно — ухо... Услышь, услышь:
шевелится страх за гардиной слов —
и шуршит бумажкой моей, как мысль.
Потому что правильно: смерть — любовь.

8 (26)

Или, в масле плавающим, лень им
полотном укрыть соблазн и пыл,
чтоб сплетеньем ланьим и оленьим,
словно слепок, мозг слепой не плыл?
Ах, не знаю, кто олень там, кто там
лань — кто льнет, кто липнет, как юла...
Но Гермесом Трисмегистом Тотом
эти все предписаны дела.

9 (27)

Лишь эгейской бусиной пытливой
глянешь в смугло льющийся «Раубоу» —
что там, что там, что там под оливой? —
как в лесу гуляет слон с трубой...
Ах, в тосканской вьющейся ложбине —
башенка-Пистоя!.. У меня
что-то с мозгом... Фавна Барберини
вспомню, Антиноя и коня.

10 (28)

Соплячок горячий — в одной цепочке.
Нет, давай и ее мы расцепим, ну же!
Даже, кажется, печень твою и почки
я хочу — сверх прочих чудес, снаружи
глупо произрастающих — трогать; пленок
перламутра касаться, затворниц мрака;
и твое сердечко держать, ягненок —
братец-агнец ссунчика-Исаака!

11 (29)

...И арбузные легкие, с жемчугами!
И трахею круглую!.. Позовите
санитаров, со связанными ногами
увезите в Сербию, усыпите!
Ах, Эрот, прости. И прости, Венера.
Только прошу высечь на белом камне:
«Я любил пшимерного пионера.
Он был словно, знаете, сын полка мне».

12 (30)

Стоит вынуть штырь из гнезда — и брюки
опадут, как стены тюрьмы при взрыве...
Стоит плавки скинуть... Я эти трюки
так люблю! Ладонь в золотистой гриве,
золотой загривок, игривый мускул,
темный диск соска на ребристой глади,
трепет смуглых волн и живых корпускул —
словно вновь рожден я в родной Элладе!

13 (31)

Как у этих синих штанов, у нашей
страсти, Кири, изнанка белее снега:
та же, что и у тех, кто лежит с Маняшей
или Нюшей, кому из-под юбки нега
жарко-жарко дышит, кто любит козьи
теребить висюльки (пастушьи нравы!).
Ну, смешно ж у санок делить полозья,
укоря левые: вы не правы.

14 (32)

Плачьте, плачьте, Музы, размазывая по скулам
крокодиловы слезы; погонщик Аона дочек,
Козопас, прослезись, разрыдайся, заерзай стулом —
позабыли с мальчика желтенький снять носочек!
Так, в одном носочке, и гладили без оглядки,
целовали, ушко прошептали — и тут лишь, на передышке,
отрезвев, заметили: вот он! — сквозит на пятке
и съезжает разнеженно на лодыжке.

15 (33)

Э обратное или фиту, скорее,
напоминает ладная, молодая
плоть — Эфиопию потную, Эритрею,
Элефантин, Элевсин, — когда я,
милый дельфин, обнимаю эти
стены, плыву в полусонной лодке,
а законный ночной Лоретти
держит горошину в нежной глотке.

16 (34)

Мое имя фитой отворяет губы.
Ну, давай поищем, где буква эта
у тебя на теле... Не надо лупы...
Что завидней участи буквоеда?
Букволиза?.. Видишь: ты — раб клейменный
мой. Взгляни: вот строчная, прописная...
Снова, снова строчная! Умиленный,
что еще мне сделать с фитой, не знаю.

17 (35)

Как петергофский тритончик, пасти
водопроводной закрыть не в силах,
держишь жемчужную спазму страсти,
паузу в железах, в жилах милых,
млеющих; как затяжной ныряльщик —
с перлами воздуха в бронхах, гладкий,
гибко-подводный... Люблю, мой мальчик,
стонущий этот твой выдох сладкий.

18 (36)

«Ах!» слетает с уст — и воском талым
мальчуган обрызгивает лен.
С жемчугом сравню еще, с опалом,
хоть пронзен стрелой — не ослеплен.
И у Кирна тоже под лопаткой —
севастьянов скважистый огонь...
Ох, растет орешник — гладкий, сладкий,
судорожный, трепетный... не тронь!

19 (37)

Птицам — смерть. Но рыбам — красноглазым,
слизистым — Твой ливень проливной
страшен ли? Где Промysel и разум?
Чем так любы хариус и Ной?..
Мы — не рыбы. Перышко и коготь,
крепкий клюв, Эрот, мне нарасти,
чтобы нежно крылышком потрогать
мальчика — и в горы унести.

20 (38)

Завтра сходим в лавку и купим фляжку,
виночерпий, а вечер на то и дан нам,
чтоб открыторотую неваляшку
с минаретом сравнивать и бананом,
со слоном трубящим, поднявшим хобот...
Трикотажной ласточкой как такую
зачехляли пушку?.. Военный опыт
только вспомню, милый, — и атакую.

21 (39)

Загорел. Даже стали соски бледнее
тетивы с веселой щербинкой оспы.
Дай пушок пахучий вдохну под нею!—
лью в горчичную дырочку уха просьбы...
Негативчик, летейская тень от плавок —
все, что от городского тебя осталось.
Язычок твой щелкает слаще славок, —
незнакома, жаворонку, усталость.

22 (40)

Дай запру соловушку ртом... Или он —
мы решили — жаворонок?.. Ах, эти
орнитологи (помнишь ли, Кири?) в счастливом
еще акте — щепкинском, на рассвете!
Во втором?.. Какой, черт возьми, куперник
неумолчный! Трубочкою его ты
научился ль свертывать?.. Ужас Герник
и Помпей — предутренние зевоты.

23 (41)

Ах, Верона за любым нас поворотом
сторожит, за складкой прячется любой!
Лишь в твоём ещё сознании желторотом
то, что называется «судьбой»,
«роком», полуспит, как соль морская
в потнолобой солнечной волне, —
то, что, угрожая, не пуская,
колется, скрипит крупицею во мне.

24 (42)

Орнитологические споры на заре: не соловью ли
судорожный перл принадлежит? Не соловью?
Жаворонку? Жарки препирательства в июле,
лепет слеповатый: «I love you...»
Выпорхнет Ро(теа!) из-под одеяла
(или, Кири, Джульетта стриженная — ты?)
на балкон... Не жала с ядом, но овала
поцелуя жалобные просят животы.

25 (43)

Как люблю тебя — заледенелого
(с капелькой росы, не знаю, или...),
мраморно-легко-остекленелого
сразу, как Суворов в Измаиле!
Словно льдину бело-розоватую
с голубой прожилкой поджигая
(плюс синица!), руку вазой радую —
севрская какая, дорогая!

КНИГА ТРЕТЬЯ

1 (44)

Вот и Наджиба, дружок, уели.
Не подбежишь уже к кинескопу:
что, искаженье? Нет, в самом деле!
Боже, где взяли такую жопу?..
Как без Наджиба светло и голо!
Где ж он? В стихах! Нет пышнее клумбы.
Там, где тупой палиндром Лон Нола
и голенище с лицом Лумумбы.

2 (45)

Лето. Эротика. Судороги. Веранда.
Подозреваю, отрока звать — Эрнандо,
отроковицу — Долорес, отрока номер два —
стыдно сказать — Хуаном... Лолочка — ни мертва
ни жива, как ванна из занимати-
математи... Фу-ты! Ответь-ка, кстати,
Кирн: сколь скоро наполнилась бы Долорес,
кабы с одною трубой боролась?

3 (46)

Кто сказал, дружок, что любовь — прогулки
при луне, на лавке садовой ахи?
Вот дурак! Глупей челнока и втулки!..
И в любви на стрелки гляди, и в страхе.
Не снимай. Пусть тикают на запястье.
А иначе — словно мы рядом с Богом,
в огороде Божьем, под лупой Счастья,
под Его наукообразным оком.

4 (47)

Слаще всего, как сказал бы философ, пауза,
луза, лакуна эмоции, а не поза
и не эмоция, — музыка, вроде Штрауса,
венские вальсы ментолового наркоза...
Новокаиновый местный укол Эрота.
Анестезия безумной торчит трубою,
мозг засыпает, улыбочкой сводит рот, а
глупые лошади в латах готовы к бою.

5 (48)

Есть ли тут страсть? Просто что-либо сделать нужно
с патологическим ужасом нежной ткани.
Пьют не от жажды, как пьяницы скажут дружно,
а оттого, что вину тяжело в стакане
стыть и краснеть. Если челюсть застыла, зубу
впредь не торчать Монсегюром — адью, детинец!
Завтра, быть может, мы жаркую скинем шубу.
Клетки томятся в тебе, как жильцы гостиниц.

6 (49)

Вообрази, милый отрок: такие рыбки
верткие, змейки, уклеики с длиннющим усом...
Их Левенгук — как, не знаю, — извлек из пипки
и разглядел в микроскоп, обладая вкусом
лучшим, чем те, кто себе прививали оспу...
Или, возможно, дружок молодой у вана
был и — «ах, кстати, постой-ка... исполни просьбу!...» —
брызнул на стеклышко умное, встав с дивана.

7 (50)

На манер горниста, но рука — не
у горе раскрытых уст, а на...
Словно в небо тянут на аркане,
а внутри натянута струна,
хорда дрожи, скважина — резину
рвущий вверх аргон... От лоз и уз
отвяжи венозную корзину,
выбрось груз трепещущих медуз!

8 (51)

А какие нимфы при этом снятся! —
Словно мед в бутылки, сосцы колышат,
на волшебных выпуклостях лоснятся,
тесногрудо, кругло, упруго дышат,
обжигают жгутик скользящий ртами,
языком ласкают его болтливym,
девятью, как Музы, ему устами
отворяясь, сладостным служат сливом...

9 (52)

Ах, еще дрожит от нежной боли
розовое устье пацана,
но уже жгуты и вакуоли
приоткрыла дивная страна.
Трет глаза ученый: «Погляди-ка
сю-сюда, гляди сюда скорей!»
Поглядит дитя — и крикнет дико,
вылетит, не чувствуя дверей.

10 (53)

Я хотел бы, знаешь ли, в Дальней Фуле
жить с тобой, где воды тверды и летом,
где ненужные джинсы лежат на стуле
и нет сносу модным твоим штиблетам.
Где все бабы — снежные: вместо носа —
корнеплод смешной, головешки — глазки...
Ты, сынок, съезжал бы, визжа, с откоса
и бежал бы вспять, волоча салазки.

11 (54)

Когда бы ночь приподняла свой полог,
и весь отель с ужасным «жу-жу-жу!»
ввалился б в номер... Что ж, я, как оолог,
в ладони Кирна железы держу —
и изучаю их живые виды,
живые тяжи, жалобную дрожь...
Я заору: «Profani, procul ite!»
Не трепещи — для этого лишь нож.

12 (55)

Вот у Свифта славно! Ты : «Гули-гули,
Гулливверчик!» — пел бы; а я бы, я бы
из пупка-окопчика — «во саду ли,
волесу ль?» — выглядывал: баобабы,
валуны, громадные призмы кварца...
Милый Кирн, спаси! Птеродактиль-овод!..
Говоришь, любовь твоя выше Гарца?
Вот проверить лучше найду ли повод?

13 (56)

Феогнид эфеболубивый оком
подглядел младенческим (так сказал бы
дикий скиф), как мальчик к своим молокам
тянет пальцы левой, льняные Альпы
до колен откинув; нагой Альбине
потолка, слепому его экрану
(что за фильмы крутятся там — нам и не
снилось!) нежную он раскрывает рану.

14 (57)

Пятерня взбирается по стволу
голым ловким юнгой — и вниз скользит...
Молодецкие игры, язык зулу,
меж землей и небом транзит-Тильзит!
Быстро-быстро шелковой лентой так,
длинной-длинной, фокусник из штанин
наполняет воздух, формует мрак,
устилает перси незримых Фрин.

15 (58)

Помнишь, Кири, как я тебя в первый раз-то
раздевал, вспотевшего от испуга
(превращенье в грязного педераста
твоего наставника, брата, друга)?
Как потом у запертой двери ванной
(штукатурка, кажется, отлетела)
я являл собою образчик странной
связи страха слуха с весельем тела?

16 (59)

Только пальто обниму в прихожей,
холодноватое, провожая?
Кто запретил мне касаться кожей
кожи? Тепла и нежна чужая
кожа!.. Шнуруешь ты свой ботинок,
как эрмитажный мальчишка (только
жаль, что не голый, — не раб, а инок).
Выбилась из-под ремня футболка.

17 (60)

Ах, повешу я пальто и поцелую
перепуганные губы, обнимая
плечи, глупую расстегивая сбрую
брючную... Молчи, молчи! Немая
сцена! «Ревизор»! На полминуты,
ах, усни, закрой глаза, пока я
довлеку тебя, полуобутый,
до тахты — токуя, потакая!

18 (61)

А очнешься ты — уж и не знаю,
как назвать — сатиром, свистоплясом?..
Чья звончее дудочка сквозная?
Неужели это было мясом?
Бьешься, словно ящерка, в ладони,
то брюшком вспухая, то мелея.
А на ляжке — Гоцци и Гольдони
замшевые... Что за бакалея!

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

1 (62)

Кири — в шезлонге пляжном, с раскрытым томом-
манном, томас-маннусом на горячей
ляжке, — ум к метафорам и истомам
подвигает: знающий буквы, зрячий
венетийский львенок читает книжку —
крутолобо, лапою наступаая
на строку... Но больше ценю подмышку,
смуглый пах, наперсток его пупа я!

2 (63)

Средиземно-мраморные гробницы
Валерильке, Кири, мне сегодня снились —
травес(р?)ти(н?)-Триест, кипарисы Ниццы...
С чем связать виденье — с Улиссом или с
Винкельманом (гомиком, нумизматом,
аполлонофилом)?.. Звони остготту, —
пусть психею выпотрошит, анатом,
и набьет Эдипом, уму в угоду.

3 (64)

Если был бы я американцем,
как говаривал Кузмин покойный,
а за ним — покойная Горенко,
я гибрид жевательной резинки
и презерватива изобрел бы;
сладкую диковинку бы Майкель
Джексон демонстрировал в рекламе;
в Бостоне я стал бы всех богаче!

4 (65)

Странно, Кири, что плоть твоя нагая —
словно лик Горгоны для моей
плоти: камнем делает, пугая
змей сильней клубящихся, ей-ей!
Или что-то видит в гибкотелой
неге, что невидимо глазам,
суслик мой, от страха обалделый,
ужасом расширенный Сезам?

5 (66)

Распухает уда удав, глотая
куропаток похоти, крыс соблазна...
Почему краса твоя золотая
так скабрезно, стыдно и безобразно
распирает плоть мою, зуб молочный
превращая в мертвенный клык вампира?
Как явлюсь я, трубчатый и порочный,
перед трубные очи Владыки Мира?

6 (67)

Мой елдак болтается, как оса на
лепестке... Возьми его, бога ради,
ртом, цветущим в садике Хорасана.
Пусть соски беззубый сосет Саади!
Переложенный на фарси болтливый —
с каждой мнимой фразой лишь будет глаже.
Поиграй с ним, зайныка, как со сливой,
обглодай до косточки его даже!

7 (68)

После ебли яблоко с хрустом грызли —
пополам, в невинном эдеме лежа...
От облаток лексики, милый гризли,
не кривись — лишь облако, лишь пороша.
Лишь мираж, играющий полым звуком.
Физкультура губ, языка, гортани...
Если Бог и жив, то во рту двулуком,
а не там, где думают пуритане.

8 (69)

Одоакр у Ромула Августула
отобрал регалии. Карл — украл.
Краше, Кирн, престола — стола и стула
симбиоз домашний, ларей и лар...
Но давай, давай мы с тобой посмеем —
ведь у нас тут как бы лицей —
целовать увитый венозным змеем
керикейон твой, кадуцей!

9 (70)

Мы с тобой тирана, Кирн, не станем
убивать. Мы в армии служить
не хотим... Упрек нам этот странен.
Разве не они привыкли жить —
режа, маршируя и рожая?
С кем насилье связано, скажи?
Как страшит их наша страсть чужая,
хоть у них — и пушки и ножи.

10 (71)

Как люблю я рот твой полупьянный,
занятый веселой болтовней!
Сердце гибкой сдавлено лианой —
нежностью, сплетенною с виной...
Словно глобус, глаз сине-зеленый
зреет измененьями вовне —
клином, кленом, клинописной кроной...
Знает монстр, что истина — в вине.

11 (72)

Как люблю я милое тело в полной
темноте ладонями делать зримым!
Ах, ваятель, мнится мне, я невольный —
и соперничать мог бы с барочным Римом,
с антониновской Грецией. Даже — с Богом,
мнущим глину в липком ночном Эдеме.
Столько прелести, мальчик, в тебе, двуногом,
что досадно мне: будешь увиден всеми.

12 (73)

На плече и шее пушок лучится,
и у самых уст розовеет мочка.
Будем, будем вместе с тобой учиться
потягушкам пипочки до пупочка.
Ах, для пальцев плоть твоя — точно книжка:
корешок из кожи и шелк закладки,
кипарисный мой эварист парнишка!
Как словечки, складочки замши сладки.

13 (74)

Как люблю рождение влажной гнили
на мучнистом, южном, тугом банане!
Молодой олень, утонувший в Ниле,
ты плывешь, мелея, хмельнее лани,
в Средиземное море последней спазмы.
Ах, сейчас рассыпешь по мне свой бисер!
Разбазарим замшевый весь запас мы!
Как скользит и брызжет веселый глассер!

14 (75)

Пролитым горячим клеем клево
склеены живые животы...
Жалкого не трусь, трусишка, слова:
я, потом — секундой позже — ты...
Трепетные шарики картечи:
ты — не ты, а я — уже не я...
Представляешь, как нежданной встрече
рады чуть смущенные друзья?

15 (76)

Засыпай, засыпай. Вроде ласточки. Вроде рыбки...
Толстокожий закончился день, так что нас не троньте!
Мы — в Пьемонте. В Вермонте. Мы спим. А за все ошибки
нам уже индульгенцию выписал Пиндемонти...
Арапчонок, барашек курчавый, двойной орешек...
Ну, Державин и Пушкин (смешок) — под одной
скорлупкой...
Из имперских орлиц состоит и лицейских решек
жизнь: то сунут в шинель, то пушистой утешат шубкой.

КНИГА ПЯТАЯ

1 (77)

Приводи приятеля, Кири. Проверим,
завита ли медная смоль как надо
над его мальчишеским полузверем,
и большой любитель ли лимонада?..
За стеклом — так холодно и уныло,
а у нас тут — сладостная Эллада,
Гваделупа милая и Манила,
слитки глупо-голового шоколада.

2 (78)

Собрались под вечер у дома Лота
и просили Лота: «Отдай гостей нам
дорогих для сладкого обмолота;
что им, дескать, ангелам? — как растениям...
Ах, у них и крылышки из лопаток
молодых растут, ах, они крылаты;
краше, краше сказочных куропаток —
золотые локоны, икры, латы!...»

3 (79)

Потому я мальчиков и люблю, а не девочек (ибо тайна — хотят оне или «не»), что мальчик, когда «угу», под пупком устраивает дугу, тетиву токующую из ткани и стремится скинуть с себя все, а не кобенится, не говорит «ни-ни»; ибо «что на уме, то и на» — они.

4 (80)

Милый мальчик пьяный, что за чушь ты несешь! Никак не расстегнешь пуговку... Ах, нет, не надо в душ! — Пропадешь, утонешь ни за грош. Как ты пахнешь сытно за ушком... Да не хохочи, не щекочу! Все никак не сладишь с ремешком пальцем непослушным... Как хочу!

5 (81)

Так вампир на жилку горловую скалит клык, студеную слюну проглотив... Внезапно оборву я малолетний лепет этот: «Ну!» Трепещите! Мне бы плеть де Сада, жуткий дом в Карпатах, серый фрак, Байрона и Шелли!.. Вот досада, что рожден в Аркадии, — дурак!

6 (82)

Что же, зря пожертвовал я бутылкой Диониса? Только дошло до дела — обжигает рот мне ланитой пылкой и ракушка слышащая зардела. И зачем пластинка — «ах, нет! ах, нет! ах...» — заедает тщетная, несмотря на то, что ты (хоть в джинсах еще, в штиблетах) утаить не в силах уже смутьяна?

7 (83)

Ну, не трусь... или еще долить? Взгляни на Кирна —
как послушен, вот и трусики повесил...
Ремешок дай расстегну. Да стой ты смирно...
Золотое равновесье чресел!..
А теперь ко мне садитесь на колени,
поиграем в сыновей Лаокоона,
но не боль, а только нега голой лени,
и не змеи, две ладони — на два лона.

8 (84)

Ох, уж эти мне тимуровцы-герои!
Чуть дотронешься — и хоть иди плакаты,
взяв ведро, расклеивать... Нутро их
так устроено — полого и покато.
Как хлопущка. Стоит дернуть — вылетают...
Что за пестики незрелые!.. Гляди-ка,
мой пирог уже вишневый уплетают!
Что им кинутая сзади Эвридика?

9 (85)

Рты, наполненные косточками вишен,
сладким тестом — синеватым, лиловатым...
Но укор мой блудным отроком услышен —
обнимает меня с видом виноватым.
Ах, орешки Демосфена, Фермопилы,
белозубые спартанские запоры,
подкрепленья ожидающие с тыла,
золотеющие палевые горы!

10 (86)

Я хотел бы жить на острове Карабаса
Барабаса — кажется, Тринидаде
(Барбароссе? Барбадосе?), — там, где мясо
пистолетное мальчишки дарят дяде,
умирая с криком «Ура, Фиделька!»
На Ямайке или же на Гаити,
где из брюк глумливо торчит сарделька,
ухмыляясь северной Амфитрите.

11 (87)

Пожирают пирожные, сахарною пылью
усыпаясь. Бабочками мерцают рты.
За окном то ли жаворонок целуется, то ли Цой...
Сколь раскоса Азия наготы!
Ах, Монголия голая, смуглота,
золотое безмыслие, вязь, узор!..
О, слизать бы с впалого живота
шоколадные крошки, ванильный сор!

12 (88)

Ах, ныряй скорей под одеяло,
милый Делий, трепетная рыбка,
гладкотелый идол из сандала...
Ах, пупок, и попочка, и пипка!
Ах, какая попочка! Какая
пипочка — в курчавом шоколаде!
Ах, была б еще одна рука, я
и к пупку б хоть пальчик, а приладил.

13 (89)

Животом — то выпуклым, то впалым —
смуглым, как волна,
дышит Делий голый, одеялом
не прикрытый, судорожный, на
голом Кирне стонущий, тугую
трогающий жадную стрелу,
брызжущий... Ах, больше не могу я
видеть муки крестной на колу!

14 (90)

Ах, каким я, Господи, конским, бычьим,
хеттским местом чувствую — обезьяна —
страсть! Каким пугающим неприличьем
(не хватило бархата и сафьяна?)
я люблю! На память, чтоб скотный двор Твой
не забыл я, грубый завязан узел?..
Поплавок парит, но подсечкой мертвой
червячок чреват меж свинцовых грузил.

15 (91)

Ни черта, хоть и дрожат четвероглазо,
ни черта не видят среди пыла...
Два зеленоглазых водолаза...
Кирн! Как бабочка, трепещешь слабокрыло.
Расскажи-ка, как у Делия внутри-то?
Жарко-жарко? Тесно-тесно? Сладко-сладко?..
Пузыри пускает лишь, как Амфитрита.
Рот раскрыл, как белозубая мулатка.

16 (92)

Сепия, сангина, терракота...
Ах, во всяком слове спит Эрот!
И любое аханье — охота:
как у вышивальщиц, полон рот
золотыми иглами. Какая
буква не напомнит тетиву?
Разве что шипящая... Пока я
речь держу дрожащую — живу.

17 (93)

Ай да флюс, мой Делий, тебе надуло!
Мудрено ль, когда эскимо такое
у Кирнули — глаже стихов Катулла, —
сразу как сгущенное молоко, и
мармелад, и финики, и какао...
Проглоти-ка слюнку, втяни-ка щеку!
Хороша бананина? Сладко? А о
языке допросим мы лежебоку.

18 (94)

Погляди на пламя — голубое
лишь вдали оно от фитиля.
Видимо, для алого разбоя
эта предназначена земля.
Но вверху, где плазма горячее,
вдалеке от сала и пеньки —
призрачной мечтою книгочея
сизые воркуют огоньки.

19 (95)

Кадычок у Делия — сверху-вниз,
а у Кирна пипка — туда-сюда...
Милый Делий, только не поперхнись!..
Так качает парусные суда
на волне Пирея сырой Нерей...
Длинный-длинный, пеной облитый мол...
Нежный груз товаров... Скорей, скорей!..
Пряный запах вялотекущих смол.

20 (96)

Так одна упрямая прямая,
округляя рот полунемой,
круглой немоты не унимая,
льнет к иной — упрямой и прямой —
примуле, — дурея, тяжелея...
Что за Микеланджеловы львы!..
Но ладонь у Делия теплее
средиземной фиговой листвы.

21 (97)

Я люблю смотреть, как умирают,
как агонизируют мои
мальчики — из трубочек стреляют:
две стрелы, две пули, две струи.
Две змеи, сочащиеся ядом.
Два дуэльных дула. Острия
два стальных. Подобны двум наядам —
двум ручным Офелиям ручья.

22 (98)

Ах, задушишь Кирна моего ты,
бедами бока ему сжимая,
предлагая дудочку! Фаготы
не сравнятся с трепетной: сама и
заплывает в рот, и, нежа нёбо,
выплывает с розовым причмоком.
Он — флейтист, а ты — менада. Оба
сплетены музолобивым богом.

23 (99)

Сладко ль, Кири, играть на нежногрузом
Делии — колеблющемся, пьяном?
С чем сравню? С гюрзою и индусом?
С наркоманом и его кальяном?..
Дивный грот, наполненный слюною.
Гибкий свод взлетающего храма...
Так Айова млеет к Иллиною,
так в залив сползает Алабама.

24 (100)

Если и мыслящим тростником, то сахарным —
назову; хоть мыслящим — глуповатым,
сладковатым, зыблющимся... Ах, на хер нам,
если мы влюблены, — силлогизм и атом?
Пусть катаются персы на колеснице
многозначной дробь! Рябой Египет
пусть с отвесом носится!.. Ворс лоснится,
горяча щека, и фалерн не выпит.

25 (101)

Так в маркиза грезах: сразу десять
сладолюбивых юношей нагих
в зал вбегут — зарезать и повесить,
запороть до смерти можно их;
каждый — точный слепок Антиноя,
но одновременно — и коня...
О, воображенье неземное —
добыванье трением огня!

26 (102)

Ох, валите баиньки оба на
продувную веранду, где спят созвездья,
где лужок для сонного табуна
милых задниц. Сам же улягусь здесь я.
А чуть свет, не скрипнув и железу
надрывая на каждом шагу, в припадке,
прокрадусь туда я и подгляжу,
как растут из тряпок четыре пятки.

27 (103)

Тихо-тихо, осторожно, как со статуи,
совлекая с плоти покрывало.
Как разметанно сопят они, усатые;
солнце Делия в пупок поцеловало,
Кирна — в задницу... Витражно, разноцветно...
Итальянской географии глупее! —
И Везувий спит закрывшийся. И Этна.
И залитая ей Байя. И Помпея.

28 (104)

Словно та Психея у Апулея,
я вот-вот пролью огневое сало
на Амура-Януса, спины склея —
ни одной чтоб не было, засосало
чтобы ваши смятые негой крылья
в золотую вазу двугрудой твари.
Афродита это простит насилье —
за страданья — старому Страдивари.

29 (105)

Пальцы Делия дремлют на полдоро-
ге от подбородка его (чуть выше
беззащитной ямки) до деторо-
дного органа — в великолепной нише,
образованной ребрами; на струне,
если мальчика можно сравнить со скрипкой.
Как он дышит сладко! Уста во сне
расцвели какой неземной улыбкой!

30 (106)

Восьмистишья щелкаю, что орешки
или, знаешь, семечки на базаре.
Лишь поверь: орла отличить от рещки —
в состояньи. Буду ль, как твой Вазари
или Сад, садовничать, все завон
теребля? Мой милый, мы все же греки.
Завтрак, да, — втроем. Но в любви нас — двое...
До свиданья, Делий. Прощай навеки.

КНИГА ШЕСТАЯ

1 (107)

Как Платон, хочу я несчислимо-
оким небом вглядываться вниз,
где тела оленя и налима
в млеющем биении слились.
И еще: любым горячим стоном,
всяким всхлипом в судорогах тел,
каждым «о!» — на зависть всем Платонам —
я бы тоже обладать хотел!

2 (108)

Ремешком коричнево-горячим,
всею кожей льнущим к золотой
коже, каждой дырочкой незрячей
жадно ждущим жала (ах, постой!),
быть хочу, сжимая чуть южнее
кирнородной ямочки твою
стать!.. Прости, что эту ахинею
я в ушко пылающее лью.

3 (109)

Ах, дружок, улыбочка блуждает
сладостная, знаю почему:
знанием себя не утруждает,
что вошла в телесную тюрьму
кажется ей — в комнату), психея.
Ни замка не видит на двери,
ни дворовой плахи. И довлеет
ей, что нынче славно тут — внутри.

4 (110)

О, розоворотый слепок рая,
сердцем распирающий ребро,
как дрожит, играя, замирая,
все твое наружное нутро —
и, наверно, внутреннее тоже,
где орешек грецкий не созрел,
где еще на облако похоже
вещество ужасное, пострел!

5 (111)

Спи, малыш, подушку обнимая,
льня ко льну млечнейшей из камней, —
слепок рая, дышаще-немая
лепка обло-яблочная, змей
облачный: пологая лопатка,
желоб, убегающий туда,
где в покато-гладкой складке сладко
сжата жаркоротая звезда.

6 (112)

Просыпаясь, родинку на шее
и пушок, бегущий по хребту
к копчику — хочу, хочу уже я! —
всю живую вижу наготу
лунную. Повернута Селена
к нам спиной, но зрячая рука
гладит грудь незримую, колено
согнутое, ловит голубка.

7 (113)

Теплая макушка золотая,
где прозрачных бабочек Эрот
вспугивает, сонных, залетая,
и полураскрыто-крылый рот...
Вспархивают ласточки-ресницы.
Ямочка улыбки — на щеке.
Потягушки. Сладко — в пояснице.
В мышцах, ладно дрогнувших. В пупке.

8 (114)

Так лиана гибкая с лианой
сплетена в эдеме и аду
пляшущей под дудку, неслиянной,
нераздельной, дующей в дуду
завистью, самой себе в затылок
дышащей, собою пронзена...
Как узнать, в какой из двух бутылок
крепче жар единого вина?

9 (115)

О, вьюны, взаимно, обоюдно
тонущие в стонущем мужском,
юношеском омуте, как трудно
расплести ваш судорожный ком:
чей пупок там окает и чья там
родинка темнеет, чье ребро
крепнет, чьим там розоворазъятым
круглым ртом роняют серебро?

КНИГА СЕДЬМАЯ

1 (116)

Солнечный затылок на ладони
и подледных жил голубизна,
море Средиземное в Сидоне —
зелень глаз, веселая сосна,
мускус, муза, мускул, маскулинный
смуглый рай в сияющем поту...
Что же нужно сделать с косной глиной,
чтоб создать раскосую тщету!

2 (117)

Чечевица Исава стальная, если
в кулаке зажать, то цикадой бьется
и сравнимо с сердцем мерцает : «Весь ли,
весь ли здесь?..» — в жилетную щель суется.
Симулятор жизни, не стимул. Жуткой
на груди лежит ледяной ракушкой.
А сперва казалась, конечно, шуткой —
заводной шкатулкой, ручной игрушкой.

3 (118)

Это только кажется: светила,
содрогаясь, съехали с орбит...
Жилу Афродита отпустила, —
и лежу, скважением пробит
полного и стыдного, как, знаешь, —
суицид, блаженства, на краю
жизни... Кири, ты тоже умираешь,
задыхаясь?.. Встретимся в раю?

4 (119)

«Я, сказавшее Ты, — написал мыслитель, —
кроме Ты, ничего не находит в мире —
и не ищет». Тыя и Яты слитей
лишь ледышки ангельских тел в эфире —
серафимы рая в гареме Бога.
Но, утратив плоть, и они разъяты
на Оно; они ведь — «они», их много...
Верю только в Тыя, сыночка Яты.

5 (120)

О, малыш, когда произношу я
шире мира реющее «ты»,
кажется, что ширится, бушуя,
весь ночной гербарий немоты;
вся его алмазная структура
этим «ты» земным распалена;
лишь одна онегинская дура
холодна — доступная луна.

6 (121)

Как мне нравится после всего того, что
ты со мною делал, что я с тобою
вытворял, лежать... Ах, любовь ведь — почта:
ей не важно — розовой, голубую
назвалась, а важно, чтоб голубиной,
милый Кири, была — ворковала, чтобы
на плече спала... Спи. Смешно турбиной
без нее, голубки, вращать утробы.

7 (122)

На полу валяется сапожок со шпорой,
долман, Аттилой еще расшитый,
и рубашки шелковый лед, который
беззащитной коже служил защитой.
А на льдине льна золотеет Гринок,
и в его прозрачном медовом теле
бьется сердце... Жаль, что таких картинок
я не видел въяве, на самом деле.

КНИГА ВОСЬМАЯ

1 (123)

Дети сыплются вниз с поросычьим визгом.
Продавец эскимо — Эскулап в халате.
Лысый веерщик близ мячешлепов, с риском
для зализов, вдруг — бац: «А валетца нате!»
Неопрятный хлопчик очками лифчик
прожигает шлюшке в загарном креме.
(Кири, откуда?) Абхазец (Исав-счастливчик!)
ходит, словно павлин или шах в гареме.

2 (124)

В завитке кабинки меняем плавки.
Посерел весь ворс на тебе, мой зяблик!
Что за странный пол — из плешивой травки,
гнутых пробок, стекол, огрызков яблок?
Не вертись! Гляди, тут повсюду гвозди.
Даже ласки здесь не должны быть резки.
Пакля ваты в щелочках. Рыбьи кости.
Паучок завис на незримой леске.

3 (125)

Хороши пацанчики лет семна-
дцати-восемнадцати без туники:
их тела натянуты, как струна,
а в пахах крылатые плещут Ники.
О, у них резиновый водомет
превратится в твердую трубку сразу,
если кто-то в пальцы его возьмет
или кто-то кайфом предстанет глазу.

4 (126)

Дюны. Дюны люблю! Малолетний ельник,
кабинеты, кулисы большого пляжа.
В каждой соте к бездельнице льнет бездельник,
ошалев от тесного трикотажа.
Восьмиклассники, скинув восьмерки плавок
на песок, предаются и вовсе блуду...
Славный Лавочник весь завалил прилавок.
Выбирай — не хочу. Только, Кири, не буду.

5 (127)

Отпечаток беглой ступни в песчаной
почве... Вряд ли что краше я видел в мире.
Как боюсь наступить я — обутой, пьяный
арьергардщик-Саул — на строку Псалтири!
Разворачивай свиток к заливу. Птичьи
сбоку скачут пометки. Всё, значит, верно...
Бородато, барочно ревет величье
головы отрубленной... Олоферна?

6 (128)

Эмбриончик прилипчивый, Кирн, — услада
всех ваятелей: десять веков занозу
ну никак не вытащит вся Эллада...
Хорошо, хоть ты в прописную позу,
наколовшись в песке на лесной заколке,
не садись. Стоишь одноного. Руку,
как Барышников, тянешь к еловой холке.
И улыбка уже замещает муку.

7 (129)

Радужную зелень охраняя
в полдень от зенитного огня,
Кения, Танзания двойная
всей пластмассой смотрит на меня.
Вроде шоколадной полумаски
эти африканские очки —
плавки зренья, тесные подвязки,
прячущие жаркие зрачки.

8 (130)

Занимательно мальчика загорающего
испугать, пупок щекотнув соломкой.
Как люблю глаза твои расширяющиеся,
трикотажные плавки из ткани тонкой —
жалкий листик фиги, укрывшись коим
с головой, безвольно раскрывши ротик
розовато-млечный (а нет — раскроем),
плавший в детство спит твой хмельной Эротик!

9 (131)

Южнокорейские часики на запястье.
Золоторунный пушок, кое-где курчавый —
в тесные кольца сбежавшийся — там, где счастье
спит. Абрикосина левая выше правой.
Соевых родинок россыпь. И две тянучки —
глупые, мнимые (впрочем, как все, что мило)...
Что за хозяйственный перечень!.. Море, тучки,
голубизна... Гваделупа, Сиам, Манила.

10 (132)

Абрикосы, персики, Киrn, и дыни,
отлежавшие бок до янтарной гнили...
Как ни дорог дивный ледок гордыни —
крокодильчик риска в блаженном Ниле,
но милей сырой очажок распада —
огонек, исподний лисенок боли,
ибо только смертельно больному радо
обреченное смерти в земной юдоли.

11 (133)

От вина слипаются, Киrn, ресницы;
улыбаясь, губы впадают в детство;
на запястье ворс золотой лоснится,
и смешит японских часов соседство —
убери-ка руку! — с курчавым раем,
из песка растущим на гладком теле
аравийском, — ах, с караван-сараем,
с завитками греческой капители.

12 (134)

Солоновато-зеленых глаз ты
южное море смежаешь влажно
в дюнах. Сырые плавки и ласты —
в лапах еловых. И плоть протяжно
отвердевает, мешая нашим
ласкам. Мою-то мы спрячем в (точек
жаркий пробел). А твоей мы вспашем
время крадущий у нас песочек.

13 (135)

Если кто раздвинет кусты стыдливые,
то увидит зыбкого осьминога,
а не нас... Ах, въедливые, ебли вы ли —
ну, хоть раз? Любили ли, хоть немного?..
А что ясный полдень у вас, что в юбке
или в брюках париться вам прилично,
и моим губам, и моей голубке —
голубку любимому — безразлично.

14 (136)

Ах, шепни: ты видишь, как стрекозы
на бесхозных трусиках твоих
спариваются? Какие позы!
Или тщетно все искусство их,
вся их камасутра?.. Ни черта не
видишь! Как в упор не видят те,
что в груди творится и в гортани
страшного титана, в животе.

15 (137)

Как Венеру, если бы нас, с Аресом,
завернул Гефест хромой в паутину —
и пришли бы боги зреть с интересом
на нагой любви живую картину
(ну, «Playboy» в музее мадам Тюссо!), то
и тогда б ты был всех на свете краше,
и тогда б — в ревнивой сети стосотой —
не горчил бы мед благодати нашей!

16 (138)

От подвздошной ямочки до ключичной
и обратно к югу — в лесок пахучий,
к дорогой бамбучине неприличной —
осторожно движется рот мой сучий, —
по волшебно тающему сеченью
твоего дыханья; от замиранья
на обрыве — к обмороку расточенья,
к ожерелью бурного содроганья.

17 (139)

Все живые дырочки раскрыл,
кроме тех, серо-зеленых, двух.
Или страсть и есть озерный ил —
влажный голос и горячий слух?
Жаркий шорох в ракушке ушной,
потной просьбы судорожный пар...
А глаза — глаза всему виной:
вот твоя старуха, Потифар!

18 (140)

Твой носок в кроссовке серебристой —
словно гонщик с красной полосой...
Вот бы возмутились ригористы
розоватой пяточкой босой!
А уж люто двигая на север
зрение, совсем с ума сошли б:
гибкий стебель, медоносный клевер
и шмели, и почки липких лип.

19 (141)

В одиночку, мальчик, слепить едва ли
можно счастье зримое (веселее
не придумать!) ... Видимо, напевали.
Знаю, знаю, подмигивали, лелея
свою шалость — трубочки, штучки эти.
Горячились горние постояльцы.
Шепотком обменивались, как дети.
И шпаргалкой сунули в мои пальцы.

20 (142)

Пятый час. Андрогинчик не прочь похавать?
Погляди, вон поросль плетеных стульев
и столов, почти что пустая заводь.
Не сезон. Пора онемелых ульев.
А ведь как роились!.. Что будешь? Это?
И блины? И сливки? И два эклера?!
И буше?! И пунш? Хороша диета!
Я же, Кири, распухну. Ну, где же мера?

21 (143)

Целый день в барабане стиральном тебя вертели.
Полоскали. Швыряли. Сушили. Разув. Раздев.
Засыпая, и то продолжаешь нырять. С постели
одеяло сползает. Колышатся перси дев
голубого залива. И рот округлен латынью
полусонной любви. Разгибает тебя волна —
и сгибает опять молодой зеленой синью.
И психея до снега в химчистку, как плащ, сдана.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

1 (144)

Ах, какой же заспанный ты, лохматый!
На щеке от наволочки полоска...
Но что значит молодость! — пахнешь мятой,
и живот волшебный живет воска.
Полуспишь? И что ж тебе полуснится?
Почему я в снах тебя не встречаю?
Как дрожит от солнца твоя ресница!..
Ба! Извольте кофию? Или чаю?

2 (145)

Как люблю я бляенье и мычанье
нечленораздельное, заблужденья
языков трепещущих, одичанье
спешной речи, — слушал бы целый день я
и всю ночь! Воркующий ворох, шорох,
всхлипы чаек, рокот и рык прибора,
задыханья палевых гор, в которых
разгулялось — синее, голубое.

3 (146)

Мне немногим меньше. Любил эфеба
на одном из лесбосов, где, как челюсть
Амадея, храм укоряет небо:
тем дуплистей флейта, чем чище мелос.
Я имел солдатика на его ши-
нели — колкой, войлочной, прямо на пол
посреди каптерки вонючей броше-
нной, — блаженство жалкое жадно лапал.

4 (147)

Волосок единый в паху у Патрокла Феклы целой Ахиллу милей... Жука поймали бы в два пупа, языки лепечут «возьми, возьми», «дай» твердят, твердея... Куда девать то, что пальцы друга хотят схватить первым делом?.. Лирой звенит кровать, в нежных пальцах тщетная бьется нить.

5 (148)

О стыдливых персиках, абрикосах золотисто-замшевых, сизых сливах в ледяном налете, о жарких осах и ганзейских пчелах, шмелях пытливых, о морских зеленых глазах раскосых, поглупевших славно от слов пугливых... О противных мальчиках-кровососах, на девиц глазевших весь день визгливых!

6 (149)

«В человеческом теле такие связки есть, что их без трепета зреть нельзя нам», — прочитаю... Все ремешки, завязки расстегнем, развяжем на Кирне пьяном. Полежи пока на подушке, книга... Кто сказал: «Железо так льнет к железу»? — В Антиноя дивного, в Каллипига, как в рояль рыдающий — флейтой, лезу.

7 (150)

Локти и уши мешают стянуть футболку? Нос? За губу зацепилась? Что, рожь под мышкой с хлопком срослась?.. Глаз не вижу, но вижу — челку, ребра, пупок, а что ниже — прикрыто книжкой («Крыльями», третьим изданием) раскрытой... Лежа, кто же футболку снимает? Нельзя глупее, раб умирающий, выдумать... Мышцы, кожа, книжка сползающая — ну, целая эпопея!

8 (151)

Дивный торс — как облако в зеленых
физкультурных шелковых штанах.
И пупочек — лодочку влюбленных —
чуть качает псиша на волнах.
А когда, малыш, в часы отлива
зелень вод отступит до колен,
влажное увижу дно залива —
рот тритона, водоросли вен.

9 (152)

На Катуллову Лесбию со своим пернатым
ты похож воробушком. Убери ладошку.
От кого тут прятаться нам, юннатам?
Не во мне ль усатую видишь кошку?
Ну, положим, сцапаю. Ну, допустим,
мягкой лапкой стану птенцу на глотку,
завладею розовым, влажным устьем,
довежу до писка твою уодку...

10 (153)

Кирн, люблю, когда, соскользнув с дивана,
ты летишь к столу в промежутке между
«ах» и «ох» и, разъяв кожуру банана,
по ковру гуляешь, презрев одежду,
золотую замшу в паху катая,
восхищая глаз мой игрой живою
мандариновых ягодиц (из Китая?),
потряся вышкой сторожевою.

11 (154)

Ни к чему метафоры, отрок: раем
я твоим, отзывчивым, твердым, тронут.
Так давай потрогаем, поиграем,
разболтаем пляшущий липкий омут
языком, как Эдик-американец...
Извиваться будешь ты, вроде вязкой
золотой струи, — слабоумный танец!
Рыбкой рот раскроешь перед развязкой.

12 (155)

Ни молочной тянучкой молчащих уст,
ни волшебным устройством ключиц и плеч
не насытитесь. Господи, где Прокруст,
чтобы лишнюю плоть поспешил отсечь!
Уроженку кипрской волны просить
станем: «Сжался, Волчица! Стрелу извлечь
научи, расплети золотую нить,
загаси фитили соблазненных свеч».

КНИГА ДЕСЯТАЯ

1 (156)

Что-то, Кири, прости, назревает в гландах.
И такие, знаешь, разряды в ухе.
Нет, заплывы, брат, не в моих талантах.
А? Хорош голосок? Как у старой шлюхи.
Потаскаю день желтый шлейф микстуры
и серебряной ложечкой трону небо...
Ну, зачем лицемерить? Ну, шуры-муры...
Что попишешь, и ты — придвигатель гроба.

2 (157)

Пожалей меня, вертопрах бесстыжий,
смердящий бабник! Как это что? Вчера я
тебя видел с этой кобылой рыжей.
Ну, хворал... проклятая дрянь сырая...
В парусиновом кресле дремал в куртине:
Пруст на плече, прострелы... Проснулся — здрасте! —
козлоного прочмокали в тухлой тине...
Омерзительно, Кири, созерцанье страсти.

3 (158)

Если быстро-быстро и жарко-жарко
в глупость ракушки шепот внедрять горячий,
то, конечно, где-нибудь в недрах парка
этот фокус кончится, Кири, удачей... —
если можно удачей считать рябое
вымя и любознательный лоск улитки,
вылезавшей к свету под шарк прибора
и обиженный треск шоколадной плитки.

4 (159)

Кири хозяйской внучке за стенкой шаткой
гадкий прут дает целовать и трогать.
Как они там цокают со своей лошадкой!
Ухо ловит стук лишь, хоть близок локоть...
Кто любил, тот ревности знал припадок.
Ах, умрите, подлые! Сдохни, сводня!
И пупок, и патока золотых лопаток,
и дрожащий рот — не мои сегодня.

5 (160)

Уплывем на Лесбос, Кири, где девчонок
твоя плоть мужающая не тронет,
где вольготно старости, где зайчонок
сам в силки бежит и призывно стонет.
Где пацанка скажет лишь «фи!», когда ты
ей покажешь свой одурелый дротик.
Будем жить бестрепетно, как солдаты,
и поставим слоников на комодик.

6 (161)

Мшистая арка-руина с холста Робера
так ревнует к мрамору белому с голубыми
жилами — к целому, круглому, оробелому
Риму, — как я ревную к тебе, любимый,
ибо муза — женщина, и ей любви
не сырые заросли и зиянья,
не венца слабеющие раструбы,
а струна струи и стремнина зданья.

7 (162)

Поманю солдатика, с чуть заметным
над губой овсом. В увольнении, что ли?
В самоволке? Воинским телом медным
овладеть не сложно — дублон, не боле...
Ну, пошли. Лишь надо отмыть сначала
человечий облик от ратной вони.
Расстегни-ка сбрую, возьми мочало,
потопчись под душем, что конь в попоне.

8 (163)

Как сказать мне, как намекнуть? «Ах, кстати,
о Гомере — я бы хотел с тобою,
как Орест с Пиладом, в одной кровати...»?
Или: «Эта родинка над губою
за иных предстательствует, таимых
под футболкой, с наглостью депутатки»?..
Как узнать мне — «да»? — по глазам твоим; их
разгадать загадки, найти закладки?

9 (164)

Что крадешься, миленький, тише мышки,
норовишь, не скрипнув, прилечь? Не сплю я.
Так ужасно пахнут твои подмышки
и живот, как если бы из Вилюя
привезли зверинец... Щека — в помаде.
Под соском — укус. На плече — засосы...
И язвющий укус — в любом стигмате,
словно в сердце, ноя, гнездятся осы.

10 (165)

Кирн, кадык, когда пьешь из бутылки пиво
или эту глупую ко!ко!ко!лу,
умиляет. Придумано как счастливо!
Никакое не яблоко... Скоро в школу...
Все простил. Как иначе?.. Восторг гортани.
Две звезды — на плече и одна — на горле.
Полагаю, такие в Узбекистане
Улугбеку для горних глаза протерли.

11 (166)

Всех милей из них — Дионис с Гермесом.
Феб, пожалуй, ханжа. Погляди на рожу!
Дафну гонит беглым, петлистым лесом,
словно зайца. С барда сдирает кожу.
Предводитель! С рукой на большом отлете.
Заводила, вожак. И не лук, а палка —
в лапе. Озеленитель посредством плоти...
Кирн, дельфинчик, а ты его любишь? Жалко.

12 (167)

Точка, Кирн, и молчок! Видишь — папа с мамой...
О! Привет, Полипай!.. С моря. Встретил Кирна.
Вместе ехали. Прямо жених... Той самой?
Неплохое семейство. В Мегарах мирно?..
Жарко! Самое время продать излишек
дров... Да даром. Две драхмы с большого воза...
Все рабы на уборке? Пришли сынишек...
Фиг в отъезде? Ну, Кирна... Какая проза!

13 (168)

Как люблю твои, глупышка, одобрительные,
драгоценные смешки во время чтения,
а потом — в каком-то дательно-винительном
падеже — сплошные дебри одобренья!
Слову должно быть проветренным, остуженным,
но не хуже ведь и это бормотанье?
С затянувшимся давай покончим ужином —
честно выполним отцовское заданье.

*Публикация и подготовка текста
Алексея Пурина*

2. СТАНСЫ ФЕОГНИДУ

* * *

*Мы за рюмкой могли бы в такие дали
С разговорчиками забрести своими —
Так и думалось, кажется, на вокзале,
Предвкушалось... А солнце в вечернем гриме,
Маске алой, похолоделой,
К горизонту тянулось с тяжелым креном,
Тени длинные то и дело
Пробежали по гулким стенам.
Что уснувшим спутникам до пугливых
Перестуков сердца, колес дорожных!
Сколько слов беспмятных и счастливых
Тут могло быть сказано — разве можно?
Ни о чем не думать, себя жалея,
Вспоминать об этих, нас ждущих где-то...
Горьковатый запах густого клея,
Сладко-приторного Амаретто.*

* * *

Тратить время попусту: по живому
Резать, ждать, признание караулить...
Письма «от далекого к дорожному» —
В каждом слове скрытое «увильну ведь!».
Увильнет твой Кири, не пойдет наука
Впрок, небызупречная; из Мегары
Далеко забрались мы — мука, скука:
По подъездам жмутся сырые пары,
Или пар из лопнувшей батарее.
Знать, чего ты хочешь, ему не надо. —
Ну же, так и так еще, нежа, рея!
Ах, воображенье стараться радо.
Ах, воображенье, цветочек слабый,
Расцветающий греческими ночами!
Если б горечь мужества придала бы,
Ты бы понял, что́ стоит за плечами.
В том-то и беда твоя, в том и слава:
Сам не знаешь, что́ так влечет, волнуя.

Тело? — Нет, на душу идет облава —
В сети шелковистые поцелуя.

Как кузнечик в коринфской капители,
Потерявшийся в листьях аканта,
Щекочи мое ухо, стрекочи. Неужели
Это все про молоденького твоего арестанта?
Нежность тебя подводит, мед липовый,
Пчелами Аттики собранный в улей,
Семейные огорченья Ксантисповы
И сердце, которое не вернули.
Я-то знаю, как слух припадает к трубке,
И какие хрупкие эти губки —
Нет, не губы, конечно, а те — из моря,
Словно впитывающие все горе,
Все безумье желанья... чего? Чего же?
Ты ведь понимаешь, в любом ответе,
Так на правду похожем,
Нет ни грана смысла. Лишь сети эти
Провисают, колышутся. Феогнида
Жаль, конечно, а не мальчишку.
Стрекочи же, насвистывай хоть для вида,
Перелистывай свою книжку.

Тот, кто сделаться бы хотел рыбкой,
Узкой форелькой, юркой, чтоб пронизать
Эту гладь разделяющую, отражающую тень улыбки,
Зыбкий овал лица, волос упавшую прядь,
Тот, кто хотел бы остаться самим собою,
С самим собою, сам, как сом усатый на глубине,
Тот, кто не помнит времени, тот, кто судьбою
Не предназначен ни ей, ни тебе, ни мне,
Тот, кто поэтому всех несчастнее и жалчее,
С душою, вихляющею, словно лодка, оставшаяся
без гребца,
Всех прекраснее, всех безнадежней — так и просидит,
коченея,
На берегу... А ты?..

Ты будешь за ним следить до конца.

* * *

Лишь в стихах объятие вечно длится,
Поцелуй становится поцелуем,
Потому что трусость твоя — блудница —
Невозможным делает все: воруем
У бессмертья, скрадываем мгновенья,
На лету, как пеночку, слабость ловим.
Обойди становища все, селенья —
Где найдешь пристанище для любви?
Где найдешь ручей, над которым Эхо
Безнадежно мальчика провожала,
В самого себя влюбленного — вот потеха! —
И вода безжалостная бежала?
Ждать тут, знаешь, нечего. Над тобою
Над самым тяжелую клонит крону
Ветер. Звезды высыпали гурьбою
Побродить по неба ночному лону.
Ты глядишь на яркие эти очи
И себя не чувствуешь, не ждешь признанья.
Лишь в стихах и память и жизнь короче
Дрожи губ, смятения, прикасанья.

* * *

Ты, в пузырь водяной запаянная,
Герметичная в самой себе,
Юность, чувственность неприкаянная, —
Только листик пристал к губе.
Красота, она — видишь — поляя,
Словно стебель кувшинки внутри.
Сырошь, глянцевошь невеселая —
Это зеркало хоть протри!
Хорошо тем стрекозам бешеным,
Вольным дуги чертить, кружа.
Понимаешь, на чем подвешена,
Ты, мерцающая душа!
Камыши, как ночная конница,
Тени ползают в глубине.
Вот, он ниже сейчас наклонится —
Пота капельки на спине.

* * *

Если тело застать врасплох душа не может,
Остается молчать или писать вирши.

Жаль упругой его смуглой кожи
И улыбки юной — «сим победиши!».
Ты же побеждаешь иначе:
День прошедший ведь как бы не существует;
Он был молод — что это теперь значит?
Только слово найденное волнует.
Потому что оно, словно стрекозка,
В янтаре застывшая, — вечно ново.
«Я люблю его» — это зарубка, бороздка:
Получается — «я люблю слово».
Потому что одно оно только и может быть плотью,
Мальчик же, милый мой Феогнид, лишь повод.
Мог бы стать, мог бы слиться, забыться...
Отродью
Человеческому нужен кнут — довод.

* * *

Ах, Феогнид, одно случайное, до дрожи,
Касанье — не во сне, а наяву —
На том конце пути, на том конце (я строже
Быть должен) пропасти той (я переживу!).
Для чувства-лакомки воображенья мало
И мало опыта, оправленного в тот
Набор картинок, — сдерни покрывало...
Но что-то скажет он — и сердце оборвет.
И будет ложью спрашивать: хотела
Того душа твоя, куда пути
Ведешь? — Мы знаем: Слово любит Тело,
А Тело — Слово, в силе, во плоти.
Жаль только, если эти два светила,
Блуждающие где-то тайно, врозь,
Сойдутся вдруг — природа им судила
Прожечь друг друга пламенем насквозь.

* * *

Твой бедняжка Кирн, небось, и не подозревает,
Что любовь чужая — уже ловушка,
Кое-как, наверно, слушает (увы — зевает),
Что ты там ему нашептываешь на ушко.
С хамством ювенильным — о! — знаком немало.
Представляешь, как такие вот хитрецу Сократу
Нравились, особенно в тени, в тиши привала
Под оливой, снявши там туники или латы.

* * *

Если бы ланей следы в чаше зеленой,
Если бы ключ ледяной, что кустарником скрыт,
Радовать сердце могли твоей насмерть влюбленной
Мачехи, о Ипполит!
Ты же, как слышал я, чист — это значит, ни духом,
ни телом...
О, особенно — телом! Благородная красная медь!
А она не сказала ни слова, она лишь глядела —
Это надо уметь...
Странный юноша, что ты ответил: мне просто не нужно? —
Словно ветку отвел на тропинке средь ловчих забав.
Будет солнечный день, ветер южный и берег жемчужный.
Как ты прав!
Только я бы при всей чистоте не решился оставить
Просто так ту тоску обожженную, ту помраченную честь.
Ты за это погибнешь сегодня, я знаю. Ничем не поправить,
Не укрыть от себя то, что есть.

* * *

Ты, словно нарочно созданный для отказа,
Для игры, для морских купаний, для зеркала — не для глаз
Посторонних, знаешь ли, какая зараза,
Болезнь проникает внутрь, отравляет, как сернистый газ?
В чаше лесной с нею, серебролукой
Радостью молодой — крови беспечной гон.
Такие, как ты, могут быть другом или подругой
И не понимают других имен.
Ветка, зачем твой цвет, зачем красота резная
Листьев и лепестков — в холоде первой росы?
Быть, ничего не чувствуя, просто войти, не зная,
В сумрачное пространство, где время поглядывает на часы...
И мне теперь никак не оставить в покое
непредназначенность эту,
Воздуха мерцающего ночную струю.
Мальчик мой Ипполит! призываю тебя к ответу
За жизнь погубленную твою.

* * *

Ласточка ли тебе сказать позабыла,
Куст ли раkitника не шепнул?..
Эта, так называемая, твоя красота и сила, —
Разве что ветер касается шеи и скул.
Знаешь, чего-то я все-таки не понимаю;

Ну, например, как так может быть: было и нет?
Ах, Ипполит, твои лошади к самому краю
Пенной стремнины несутся, не зная ответ.
Друг, объясни мне, зачем твои кудри упрямы?
Жизнь — это звездный поток? метеорная падь?
Нету загадочней, чем красота криптограммы —
Глаз не поднять.
Что же, играй, заполняй своим телом упругим
Дни отведенные — как отпечаток в песке —
В круге холодном у преданной смерти-супруги
Или у жизни-любовницы на волоске.

* * *

Не странно ли, в самом себе опоры
Не ищет чувство. В радости, в беде
Имеют птицы гнезда, звери — норы.
Тебе же нет пристанища нигде.
С галлюцинацией, фантомом пуповиной
Твой связан дух. И не перебороть:
Всему, чему ты сделался причиной,
Необходимы имя, разум, плоть —
Всему, что было только вязкой глиной...
Но веко трет мрачнющий закат.
Ты знаешь, есть — никто не виноват —
Такие яркие зияния, пустоты,
Такие сны!.. Что делать, бедный брат,
Их не присвоить, не вернуть назад:
Смотри, смотри лишь, забывая, кто ты.

* * *

Справиться с божествами ночными — сном и любовью, —
Когда свой сверток прозрачный память достанет,
На пленочке серебристой, припав к изголовью,
Так и этак будет менять местами:
Что ты ему сказал, что он тебе ответил...
Неподконтрольные, ночные наши смятенья!
Это, мой Феогнид, совести сети,
Тайные страхи — и все они от неуменья
Жить-поживать. Да когда же нам обещали
Время такое, солнечную погоду?
Вот и на эти стихи все гаубицы, пищали,
Думаю, уж нацелились нравственности в угоду.
Жалко их, дураков, клюющих свою мякину,

Знающих только слепки с антиков — не скульптуру.
Дай напоследок мир этот алчным взглядом окину,
Прежде чем залезать снова в овечью шкуру.

* * *

Не мы с тобой, в конце концов, создавали
Этот день июльский с загнутыми краями
Поля, с дымкой перламутровой поднебесной дали,
С рощей, всеми шепчущей ветвями и ручьями,
С цокающими подковками кузнечиками в сочной
Молодой траве, где клевер и кислица,
С тайной, тихой в сердце тягую непрочной,
С красотой, что так преображает лица.
С этим всем что делать — совершенно непонятно.
Мужества бы нам побольше и терпенья.
Если бы хоть как-то слить все отсветы и пятна
И соединить все нависающие звенья!
Ты не в силах? — Знаю. Я ведь тоже — а пытался.
К вечеру, наверное, опять похолодает...
Друг, ответь, пожалуйста, зачем нам этот дался
Мир неутолимый, эта глупость молодая?!

* * *

Поволоки эти ночные кто отделяет одну от другой,
Словно учит ребенка шнурки на ботинках завязывать,
нитку ведет
Впечатлений дневных, осторожной ступая ногой
В те края, куда только Морфей залетал да Эрот?
Что любовь твоя хочет? Не знаю... почти ничего...
То есть многого, но

это — так лишь, попутно, и мне

Не особенно нужно. Чего же тогда от него
Ты желаешь добиться в сердечной немой глубине?
Пламенеет восток. Будет день разморенный в пыли
Под ногами лежать, оглушенный журчаньем цикад.
Я хочу... я хочу от него, чтобы ласточки уберегли,
Не разбив, это бледное небо простертое над,
Чтобы было зачем мотыльку в черноте темноты
Длительный смертельный полет свой к мигающей точке огня,
Чтобы чувствовал он, чтобы спрашивал тихо: «А ты?» —
И сильнее всего, чтоб того же хотел от меня
Ночь не может никак разродиться доверчивым сном,
В мыслях — что в паутине — забился сознания комар,
Бесполезно зудящий... Потом, ну потом, ну потом
Разберемся, летя на огонь обжигающих фар.

Всю дикость, все безумие сюжета,
Всю невозможность... Словно бы мы спим,
А нас во сне терзают и калечат.
Два равносильных довода: любим
И не любим — как просто! — чет и нечет.
И точки нет, где встретиться могли б,
Но прорастают (как древесный гриб
В ствол, тронутый гниением) друг в друга:
Ни слиться, ни отринуть, ни принять,
И бесполезно времени пенять,
Что вспять не поворачивает круга.
Увы, придется уступить одной.
Ты догадался? Дело лишь за мной?
Ну что же, я не уклонюсь, поверьте!
Но есть еще, стоящие стеной,
Две данности другие: жизни — смерти.

* * *

Дай мне, дай таблеточку маленькую такую,
Чтобы кончилась эта боль внутри — повсеместная,
неживая;
Ты не знаешь, разве, как горестно я тоскую,
И не видно конца и края.
Неужели в твоей коробочке пестрой нету
Желтой, мятной, чуть вытянутой пилюли,
Чтобы как-то освободить в душе тяжесть эту,
Чтоб все чувства уснули?
Далеко собирается ветер вольный,
Треплет тучи края, рвет в клочья.
Понимаешь, ночью порой так больно,
И не в силах помочь я.
Если кто-нибудь скажет тебе, дескать,
Все проходит, кончается, истекает, —
Верь... Хотя это просто не та резкость
И любовь, я думаю, не такая.

Перевод Алексея Машевского

УПЕРСОВЫ ПРОИСКИ И ЛИТЕРАТУРА

Послесловие переводчика

Неужели это один и тот же мир, одно и то же небо над обласканным поэтическим воображением морем, одни и те же, посверкивающие белой акриловой грудкой чайки, висящие перед окнами полупустого декабрьского ялтинского отеля, один и тот же сероватый, прохладный, пропитанный скипидарными запахами Элизий, пустой и ленивый, растянутый вдоль побережья, ненастоящий, как какая-нибудь тысяче-пятистот-четырёх-серийная Санта-Барбара, как жизнь, подозрительно смахивающая на мыльную оперу (или мыльный пузырь?)! Один и тот же, говорю я себе, с трудом восстанавливая в памяти этот то ли предпоследний, то ли предпредпоследний день случайного недельного зимнего крымского пребывания, который, будучи пропущен через призму соседнего взгляда, вдруг на минуту ослепил вырвавшейся невесть откуда радугой соблазнов и тайн, прошелестевших, оказывается, тогда, три года назад, меня мимо.

Господи, да я едва помню этого лысоватого (нет, определенно лысеющего, что бы ни говорил по этому поводу Пурин) господина, так забавно выговаривающего шипящие, подмешивающего к ним инфантильный дребезжащий между зубов звук «з» и аккуратно вытягивающего губы. Спешу заметить, что юмор и «острота» Уперса (спасибо моему мнемозинолюбивому спутнику! я, увы, не запомнил даже имени двадцатилетнего, так сказать, ангела, хотя оно как-то связывалось тогда с легким дионисийством, которому мы предавались, обалдев от двадцатиградусной теплыни и декабрьских роз, заставляющих искать где-то вверху над головой оранжерейное стеклянное кружево), так вот, юмор господина Уперса, на мой вкус, был несколько гипертрофированным, слишком архитектурным. Ему явно недоставало блаженной живописной неточности, нерасчисленной неправильности, увлеченности посторонними внутренними рефлексамии. Вообще: контрфорсы, эркеры, какие-то аркатурные пояса цитаток и полуцитаток, дорический ордер безапелляционности в сочетании с кокошниками псевдорусского доброжелательства. По-моему, мы являлись свидетелями непрерывного строительства то ли вертикали вавилонской башни, то ли горизонтали не менее известного циньского укрепления.

Конечно, игра! Я еще подумал, что собеседник наш слишком демонстративен, чтобы успевать следить за собственными переживаниями, особенно определенными, бросающимися в глаза почти сразу. И потом, эта тотальная косвенная речь,

по-видимому так никогда и не доходящая до прямого задыхающегося выговаривания чувства — лишь намекающая, подмигивающая, словно огонек, приманивающий чешуекрылых к коробке энтомолога. Сомневаюсь, чтобы золотистый Денис услышал когда-нибудь от Н. У. («Ну! Ну же!» — воскликнул бы тут мой взволнованно-любопытствующий спутник) такое простое, в общем-то естественное, судя по их отношениям, человеческое признание. Печально не то, что без разделенья, как все другие, эта страсть мертва, — печально, что и обладание не позволяет называть вещи своими именами. Уперс мог сколько ему заблагорассудится царствовать в пародийной имагенландии, лишенный в реальности земли и воды.

Ведь и разыгравшееся ночное воображение моего друга, и «Апокрифы», свалившиеся впоследствии на нас (опять же с косвенным смешком, дурным подмигиванием), и сама фактология жизни этого виденного мною лишь единожды странно-некрасиво-смущающего человека — только попытки, тщетные попытки выбраться наконец боковым, петляющим, зигзагообразным обходом на предчувствуемую где-то среди дебрей тропку экзистенциальных перешептываний: от звезды к звезде... «Спрашивайте — отвечаем!» Попытки состояться в состоянии полной несостоятельности. Стояние на одной ноге.

Ну, допустим, что и в самом деле была эта отельная спальноотдельная ночь, провоцирующая, как и все нерасчленимо-загадочное на фантастическую детализацию, когда Уперс уперся в чистую эмпирику, шагнув с эмпирей, словно какой-нибудь Френсис Бекон, сбрендивший от абсолютной невозможности обтупать хотя бы простенький опыт с Аристотелевой метафизикой. Ну, допустим, так что же? Состояться! Неужели вы думаете, можно состояться на этом сартрово-камюшном, вещно-орудийном, объектно-бытовом, вщелеподглядывательном уровне? Попытки такого рода, кажется, и называются пороком.

Погадаем на стеблях тысячелистника переменного-китайской книги *Кунь*. «Благоприятно: на юго-западе найти друзей, на северо-востоке — потерять друзей. Пребудешь в стойкости — будет счастье». Чем-чем, а стойкостью Уперс, по-видимому, обладал. Во всяком случае, насколько я помню, его молоденький тело-(забавное сочетание в данном случае)-хранитель стоял при нем по стойке «смирно».

Я, кстати, в отличие от Пурина, склонного придавать онтологическую полновесность своим видениям, вообще не просматриваю в обратной перспективе театрального бинокля памяти конкретных черт означенного выше юного существа. Не уверен даже, что он был красив: так, некоторое клубящееся золотистое облако молодости. В общем, если сослаться на нежно любивше-

го себя классика, — облако в плавках (а позже за столиком элизийского ялтинского бара, подтверждая цитату и утверждая приличия, — в легких парусиновых штанах). Кстати, если не ошибаюсь, молодой человек настойчиво пытался напиться.

Удовлетворяло ли (уп)-помянутого (уп)-прямо-(уп)-порного Уперса (я ведь, кстати, и фамилию этого сомнительного персонажа знаю лишь от П., так что (уп)-потребим здесь его любимые декорации) гипнотическое властвование над... и тут приходится остановиться, потому что я никак не могу сосредоточиться и определить, над чем же, собственно, наш собеседник властвовал. Над *душой* и *телом* двадцатилетнего жеребчика, быстро хмелеющего тут же рядом? — При всей сомнительности метафизической связки этих двух субстанций, требовалось хотя бы зафиксировать их обоюдное наличие. Тело к вечеру, в результате Денисовых дионисий, должно было явно утратить немалую часть своих функций. Что же касается души, то за малый промежуток времени совместного курортного словоперемалывания и винопосасывания я, естественно, не мог установить размах крылышек последней. Было ли чем порадоваться, если, конечно, вообще эти ночные (уп)-ругие радости имели место, а не являлись плодом позднейших поэтических инсинуаций моего достойного соседа? Но любовь, как известно, есть именно такое странное призматическое состояние взгляда, когда один видит тот радужный дрожащий спектр возможностей, который не видит другой, находящийся рядом, но смотрящий на мир под смещенным чуть влево или чуть вправо пугливым углом зрения.

Тогда, три года назад, я ничего, кроме голых тел на кромке бассейна, да голого факта скандально-голубеющих (как море в часы прилива) отношений, — не увидел. Первые не прельщали (что нам рамена и перси Уперса!), вторые меня не касались (во всяком случае, я не был готов проливать сентиментально-просветительские слезы по поводу отступления от здоровых начал естественности). Грешно-соблазнительным, приманчивым, сосущим казался сам воздух, само подслеповатое сверкание то бирюзового, то ртутно-серого моря и повисшее тяжелое орихалковое солнце над ним. Так в пазолиниевском персидско-уперсовском фильме самый эротичный, призывный, кружащий голову кадр — зелень пинии на блекло-желтом, охристом фоне полупустыни (песок, камни, глина — сухость — и влажно-вожделенное притушенное изумрудно-серебристое пятно кроны). Удивительно, почему это текст или картинка обольстительнее реального мира с его шершавой корой, кожей, мясом, кровью и костями?

Обольстительность сию (заразную, ей-Богу, заразную) читатель без труда обнаружит в «Апокрифах Ф.» и потрево-

женных ими прозаических строках П. Вообще говоря, мне иногда кажется, что Персей-Уперс извлек из своей потайной Дитовой сумки заволаживающую голову Медузы Горгоны, первой жертвой смертельного взгляда которой пал мой ялтинский спутник. Ах, как я понимаю А. П.!

В сущности, в его, почти уже доведенном до какой-то пармиджаниновской грани маньеристско-метафорическом произведении, посвященном Уперсу, исследуется одна проблема: возможность дикого гомоэротического притяжения, вплоть до соития между однородными частями речи. Позы, в которых застывают, обмирая, эти слова, не сулят нам жизнеспособного потомства, но отчетливая трагическая упоенность их взаимопритяжением, заставляет испытывать странную радость и странную боль, словно от чего-то знакомого (еще с детства). И опять: чем же обладает имеющий?..

О том, что и Уперс был не чужд подобных вопросов свидетельствуют некоторые из рукописей его посмертной посылки. Кроме широко известных теперь «Апокрифов Феогида» она содержала несколько текстов (конечно же анонимных) на немецком и английском. Один из последних, условно названный публикатором «Стансы Феогиду», я и перевел по подстрочнику, выполненному Артуром Вартоком, еще молодым, но достаточно известным славистом из Пенсильвании.

Что можно сказать об авторе этих стихов? Ничего, кроме того, что вероятность Уперсовой к ним причастности из нашего теперешнего застиксового приглядывания не может быть вразумительно выражена ни одной из натуральных дробей. Я, кстати, вообще не уверен в писательской плодовитости Н. У. Люди, так ярко выражающие себя в клейком смолистом обволакивании устной речи, а тем более в жизни, не имеют нужды предаваться ночным оргиям духа за письменным столом с обгрызанной вставочкой и тлеющей папиросой. Уперс был собирателем: марки вин, курьезы, странные увлечения, основанные скорее на любопытстве, чем на самовыражении (хотя и любопытство самовыражает)... Откуда мы знаем, где, в Гамбурге или Кокчетаве, подцепил он эти тексты вместе с очередным волнующим загадочностью подоплеки знакомством? И в самом деле, если вдуматься, если попробовать поискать причины, привязывающие того же золотокожего Дениса к У. (совмещающие этих двоих в одной точке времени и пространства), то банальность напрашивающихся объяснений, сделает их тут же абсолютно неправдоподобными.

Конечно, «Апокрифы» и «Стансы» на первый взгляд сильно разнятся и темой и стилистикой. Однако границы, проводимые руководимым разумом восприятием, как правило, иллюзорны. В «Апокрифах» автор, пытаясь уйти от малейшего

оттенка метафизичности, от усталого поиска смыслов и оправданий, тщится разбить под голубым небом волшебные сады златого безмыслия. Эта маньеристическая задача обоснования прекрасного средствами самого прекрасного (голая — вот именно — голая эротика и красота — без *ничего*) косвенно свидетельствует о глубочайшей экзистенциальной тоске по целостности и запредельному совершенству. Разуверившись в метафизических способах прорыва, человек идет на фантастическую, конечно же обреченную, попытку замкнуть мир своей телесностью. Безумству храбрых поем мы славу! Но ведь это прежде всего ярчайший пример задействия трансцендентальных духовных ресурсов.

Напротив, «Стансы», предлагающие множество ответов и объяснений, все время как бы спотыкаются о новые вопросы, а главное, о неформулируемость важнейшего из них. Мы все время где-то рядом, мы уже держим *нечто* в руках, но это *нечто* — невыразимо, неназываемо. Найденному смыслу словно бы недостает подтверждения конечным телесным обладанием: дескать, все понимаю, и оттого, что понимаю, никак понять не могу. Кажется, если бы чего-то не замечал, не фиксировал, сразу установилось бы целокупное гармоническое равновесие — сады златого безмыслия под голубыми небесами. Вот тут уже чистая метафизика — возможность умопостижения истины и все такое прочее. Чур-чур меня! Я знаю только, что «истинный» художественный текст это полифония ответов, каждый из которых верен вместе с другими (даже противоположными) и не верен сам по себе.

Теперь я хотел бы оставить в покое Уперса, тем более что этот фантом памяти отправился в фантазмагорическое путешествие к Фантомасу-Аиду и в настоящее время занимает меня куда меньше складывающейся литературной ситуации.

Еще до погружения в «феогнидоведение» ощущалось смутное беспокойство. Ребята в литстудии, читая «Ромео и Джульетту», недоуменно пожимали плечами: в пьесе им чудилась замаскированная пародийность. Они все никак не могли уяснить, в чем же, черт возьми, состояла драматическая острота этой банальной любовной ситуации, когда родственники против. Кинжал и пузырек с ядом тянули разве что на театральный реквизит. В общем-то понятно: сегодняшний юноша с юницей сели бы на мотоцикл и не понадобился бы им никакой отец Лоренцо. Правда, повествование очень скоро вынуждено было бы переместиться с романтического уровня на, так сказать, социальный: обустройство в чужом городе, поиски жилья и работы, компания наркоманов (я все вспоминаю бессмертные строки Агнии Барто: «Третий «А» посеял злак./ Оказалось, это мак»), маячащий впереди стыдливо-отчаянный

адюльтер. Не правда ли, все эти «каренинские» по сути перипетии уже слишком знакомы и вызывают легкую тошноту (в пределе и есть «Тошнота» Сартра)! А все почему? — Потому, что в нашем веке, кажется, запрещено писать о любви.

Мне неловко тут вдаваться в подробности. Представляю, как было бы осмеяно импрессионистствующим Уперсом подобное занудное расследование, пытающееся «докопаться»... все равно до чего. Э, батенька, уж не хотите ли вы нас просветить!

Помилуй Бог, помилуй Бог! Но ведь в XX веке и в самом деле с любовью, этой мучительно-притягательной Уперсовой пустышкой (пустышкой — в смысле непредсказуемой легкости заполнения чем угодно и когда угодно), творится нечто странное. По крайней мере — в литературе.

Со смущением вынужден констатировать: сейчас шекспировский сюжет имел бы шанс дать повод для захватывающего, драматического, экзистенциального романа о любви лишь в одном случае, — если бы вместо истории Ромео и Джульетты автор развернул перед нами панораму мучительных, счастливых, бессовестных, бессвязных, убийственных, всепроникающих, при кажущейся поверхностности, отношений Ромео и Джулио. Символом века, ставящим диагноз, здесь был и остается Томас Манн со своим венецианским «мавром» Ашенбахом, так и не задушившим Тадзио-Дездемону. А ведь мог бы, в двух шагах ходил, да сердце не выдержало: потому что писатель. Куда ему до повелителя острова и бравого адмирала!

Что ветер дует именно в эту сторону, наполняя паруса флота львино-книжной республики, поняли даже Болдуин с Лимоновым (или Цитроновым, — не помню, надо уточнить у А. П.). Литература ведь любовью (равно как и природой) занимается лишь постольку поскольку. Ей важно найти форму, в которую удастся отлить все ту же экзистенцию: «Я раб, я царь, я червь, я Бог!» Мир, жизнь, мысль, душа — которая дается и ускользает.

В XIX веке и ранее любовь (обычная, банальная любовь) была идеальным средством оформления подобных противоречий, поскольку на пути ее реализации вставали мощные социальные, сословные, национальные, религиозные преграды. Конечно, реализация может быть затруднена по самым прозаическим причинам: «Рада я тебе сестрою,/ Милый рыцарь, быть,/ Но любовьию иною/ Не могу любить». Впрочем, нереализованность чувства в случае его, так сказать, невзаимности тоже скорее черта XIX века. В XX-м, при подвижности сексуальных стереотипов, здесь все проще. Можно сойтись и расстаться. Нельзя сказать, что на практике этого не происходило и раньше, но важна не практика, а ее идеальное преломление в искусстве (тут как раз, вопреки Марксу, существ-

венно не то, как люди живут, а то, что они о себе при этом думают).

XX век отменил социально-сословно-национальные и даже идеологические препоны (всякие завихрения на эту тему на волне классово-расовой романтики остаются пеной). Теперь нереализованная любовь в ее «прикладном» значении является частным случаем и личным делом каждого. Она утратила «кожину» типического и не годится для оформления основного экзистенциального противоречия — *иметь, но не обладать* (вариант Ромео и Джульетты). Разве что Хемингуэю в экстремальных обстоятельствах военного времени удавалось извлечь из этого инструмента пару подлинных звуков. Правда, на то его романы и отдают Фенимором Купером: экзотическая обстановка не выдерживает нагрузки вечных тем.

Препоны на пути реализации чувства, таким образом, оказываются вытесненными из естественной социальной в неестественную биолого-физиологическую сферу. Отсюда такой интерес к разного рода параллельным опытам (Манн, Пруст, Кузмин, Кавафис, Набоков). Кажется, крупнейшие завоевания литературы XX века достигаются только на этих путях. Вариант калеки, любящего полноценную, тоже не проходит. Это сентиментальная водичка. Перед нами опять частный случай. Герои же «амбивалентной» литературы — не калеки. Они просто замкнуты в беличье колесо непонятого «догоняния» собственной нормальности. Данный изнутри срез их чувств и стремлений задает идеальный камертон противоречию: иметь — и не обладать. Вопрос «почему?» не находит ясного ответа. Тут не указать на отсутствие рук или ног. Это не частный случай, это формула общего отчуждения души от мира, с которым она ищет слияния.

Я, правда, думаю, что эмансипация сексуальных меньшинств приведет к тому же, что и социальная революция: любовная тема и в этом ее варианте будет закрыта. Останется писать о катастрофичности счастливой любви... Но это уже иной поворот темы.

Прочтенные под таким углом зрения «Апокрифы» и «Стансы», помимо очевидной художественной изощренности их автора (или авторов, кто бы они ни были), вызывают желание приглядеться к себе. Я упустил возможность упрощить Уперса приоткрыть смысловую завесу (сколько бы мы ни сомневались в ее наличии) над загадочной амбивалентностью его пристрастий, воспринимаемых мною ныне как стиль (прежде всего литературный — и уж потом, что, кстати, неважно, — стиль жизни).

Конечно, Феогнид и Кирн — это не Ромео и Джулио. Но вовсе не потому, что разница в возрасте переводит тему в

другой регистр. Возраст — вещь метафизическая, любящий всегда старше любимого. Дело в другом. Отношения Уперсовых персонажей лишены той военно-спортивной, очень яркой, полной трепета и восторга легкости, которую Шекспир дарит своей юной парочке. Дарит от щедроты душевной и понимания, что ничего иного, кроме как мгновенно обгорающей на ветру (спичка!) влюбленности, тут нет и не может быть. Потому и умереть так просто, оттого и столько мужества в героях, а в Джульетте еще и расчетливости, даже практицизма.

И, Господи Боже мой, как неумело-нерасчетлив (при всех ухищрениях) и тяжел наш доблестный Феогнид! Он ведь все время только хочет хотеть чего-то. Эти же Р. и Д. — не хотят, а непрерывно действуют. Раз — познакомились, два — поженились, три — уже зарезали кого-то из родственников перед первой брачной ночью, четыре — пора умирать. Вся вспышка страсти (вся жизнь) занимает, если не ошибаюсь, что-то около пяти дней. Тут не до смыслов — успеть бы!

А Кирн с Феогнидом живут долго (и, по-видимому, мирно). Можно поэтому помечтать, подумать, помедитировать, поискать Истину, полюбоваться, помучиться, словом, заняться всем тем, чем рано или поздно приходится заниматься — не влюбленности — любви, знающей не только катастрофические обстоятельства, но и внутренние утраты.

«Она не в шутку женщина, приятель», — скажет Ромео о первой своей подруге. Ему и не надо большего. Быть перчаткой на руке. Разве не те же спятывшие признания мы находим в апокрифических «феогнидах»?

Иметь — и не обладать. Кошачья улыбка Сфинкса-Уперса. Его загадка... Как ни странно, я не помню сути, не помню вопроса. Лишь отгадка знакома: *человек*.

3. МАРГИНАЛИИ

АПОКРИФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К «АПОКРИФАМ ФЕОГНИДА»

В «Элегиях» Феогнид рассказывает своему юному другу Киру о нравственных принципах аристократов.

Словарь античности

Давайте договоримся: не будем ломать голову, кто написал эти «Апокрифы». Увы, в Европе как-то принято считать, что апокрифы пишет другой, не тот, который. Мы же предположим: написал — Феогнид. Хотя не из Мегар.

Вообще, проблема авторства здесь второстепенна. Мы живем в предсказанном Николаем Бердяевым «новом средневековье» (предсказан термин, а не означаемое): культура космополитична, вульгарный американизированный английский рядится в тогу вульгарной варваризированной латыни. Вот-вот начнется спор об универсалиях. Блестящие аристократы (правда, в основном голливудского, целлулоидного происхождения) гарцуют на породистых «Ягуарах». Интеллектуальные отшельники комментируют интертекст. Наступило время комментариев, комментариев к комментариям, комментариев к комментариям комментариев. Комментарий принципиально анонимен. Стыдно быть автором маргиналий. Некто обнаружил на палимпсесте полустертое имя — Феогнид. И стал Феогнидом.

Апокрифы — это чаще всего то, чего нет в каноническом тексте, но могло бы быть, вернее, могло бы быть по мнению самого автора этого апокрифа. «Словарь античности»¹ считает, что Феогнид из Мегар поведал мальчику Киру о нравах аристократии. Ну-ну, думает апокрифический Феогнид, не только поведал, но и показал нечто. Собственно, «Апокрифы» — рассказ Феогнида о том, как он демонстрировал мальчику Киру модель правильного поведения истинного аристократа. Например: в каких случаях следует сравнивать «открытую неваляшку» с «минаретом... и бананом, со слоном трубящим, поднявшим хобот», а когда неплохо было бы пятерне взобраться «по стволу голым ловким юнгой» — и вниз скользить. В общем, вы понимаете... «Понимаю, понимаю», — расширив глаза, многозначительно скажете вы. Ничего-то вы

не понимаете, дурачок. Вы ведь только одно знаете — твердить: «Голубой, голубой», — не очень громко, шепотком, либерально². Все-то вам невдомек.

Невдомек, например, что Феогирид не совсем твердо знает, как вообще «это» делается. Обратили внимание?³ Впрочем, верификация не интересна ни ему, ни нам. Феогириду интересно написать так, будто он — *знает*, создать как бы свой стиль «делания этого» и убедить в том нас; нам же интересно, как он себе представляет «как бы это делалось» и что он предпринимает для превращения конъюнктива в индикатив. Интересы сталкиваются: два луча, на пересечении их возникает голография — отрок со смуглой попкой. Действительно, голография: отрок — голый. «Как ты пахнешь сытно за ушком», — воркует Феогирид. Пахнуть-то пахнет, а ушка нет. И вообще ничего нет, кроме этого нежного рокота — «отрок». Голубиное воркование⁴. Поэтому не стоит пугаться, когда Феогирид делает вид, что выказывает некие садистические намерения:

*Даже, кажется, печень твою и почки
я хочу — сверх прочих чудес, снаружи
глупо произрастающих, — трогать; пленок
перламутра касаться, затворниц мрака, —*

все это не страшнее склонностей набоковского героя, заявившего своей молодой жене: «Я люблю твою печень, твои почки, твои кровавые шарики». Не верьте. Обойдутся снаружи произрастающими чудесами. Греки ведь. В Аркадии родились. «Встретимся в раю?» — умирающий шепот кончающего Феогирида совсем не кошунство (хотя автор намекает на некий педерастический рай со смуглыми ангелами в прозрачных голубых одеждах: «Серафимы рая в гареме Бога»), а обычная бытовая фраза, вроде «встретимся у памятника». Ведь они только что из Аркадии, заскочили на пару лет — и назад. А вот и дом:

*Мускус, муза, мускул, маскулинный
смуглый рай в сияющем поту...*

Однако вернемся к педагогическим проблемам Феогирида. Да-да, к воспитанию Кирна, ведь «Апокрифы» напоминают из стыдливости выпущенные издателем⁵ главы некоего «романа воспитания». Вначале Кирн — «соплячок горячий»; ближе к финалу мы видим его «в шезлонге пляжном, с раскрытым том-манном»⁶. Вырос мальчик, повзрослел, усатым стал. Вот-вот на нежных лунных щечках малиновые кратеры возникнут — и прощай, прощай очарование; и округлость нежной фиты либо безобразно расползется диким бледным салом, либо выявит свою костистую подопку. Недолго, увы! длится воспитание, недолго и «роман воспитания»: год, два, три... Да

и что это за воспитание, когда у самого наставника голова не ведает, что манус творит... Однако научился-таки Кири многим феогиновым премудростям: держать «жемчужную спазму страсти», поиграть кое с чем «как со сливой», отвязывать «венозную корзину», выбрасывать «груз трепещущих медуз» и многие другие милые штучки научился делать. Но вот, опыт исчерпан; вечности нет; время подвержено порче: перед нами не мальчик, а юноша, почти «молодой человек», красавец, гусар:

*На полу валяется сапожок со шпорой,
доломан, Аттилой еще расшитый,
И рубашки шелковый лед...*

Феогиид занавешивает шторой эту картинку и исчезает: за окном занимается рассвет, бледное петербургское солнышко освещает гостиную, «что на Мойке близ Морской», и вовсе не Кири спит, разметавшись, на диване, а Князев. Вот и Майкель подглядывает за ним в зеркало.

К. П. К.

¹ Кажется, последний сладкий плод упойтельного социалистического содружества: советско-гэдэзровский.

² Специально для вас — либеральная наживка: «Ну смешно ж у санок делить полозья, укоряя левые: вы не правы».

³ Не поленитесь, найдите в «Апокрифах» фрагмент № 94, — а прочитав, не вопите: «Понял! Это все мистификация! На самом деле, *этого* не было!». Чего не было?

⁴ «Мы не рыбы. Перышко и коготь, крепкий клюв, Эрот, мне нарасти, — чтобы нежно крылышком потрогать...» Или: «Апокрифы послужили источником для народных духовных стихов, вроде стиха о Голубиной книге» (Брокгауз и Эфрон. Т.2. С.902).

⁵ Или самим писателем. Вспомним девятую главу «Бесов» — «У Тихона»: она навеки приговорена обитать среди «Приложений» и «Примечаний».

⁶ Вот уж жестоко, белозубо посмеялся польский вьюнош над крашеным чучелом Томасом Ашенбахом, читая его венецианские охи-вздохи по крепкому славянскому телу! Вот уж посмеялись немецкие пехотинцы, набивая шмайсеровым свинцом немолодого ляха-партизана в сорок третьем! Стоило избегать тевтона-литератора, дабы разложить свои горячие кишки перед тевтонами-воинами... Феогиид сочинил трогательную эпитафию жертве венецианской антисанитарии: «Я любил пшимерного пионера. Он был словно, знаете, сын полка мне».

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ НИКОЛАЯ УПЕРСА

В некрологе, напечатанном в «Вечерней Столице» (17.04.93), говорится следующее: «Прихотливый стилист и тонкий лирик, Николай Уперс уже занял подобающее ему место в истории отечественной словесности, и мы уверены, что он пребудет там всегда, по крайней мере, пока наша словесность будет существовать». Герой этого сочинения немало посмеялся бы над «прихотливым стилистом» и «тонким лириком», над двусмысленным «подобающим местом», над «пребудет там всегда» в смысле «и долго будет тем любезен он народу», над фонетическим бубнением «пребудет... будет», наконец, над внезапно возникшими сомнениями в перспективах вечнойзеленой (от жажды долларов) отечественной словесности. Может, он и хохочет там, в куцах рая, или (худший вариант) в инстанциях чистилища, сочиняя примерно следующее: «Похотливый стилист и тонкий педик, Николай Уперс уже занял подобающее ему место возле параша отечественной словесности, у коей он пребудет быть, бздеть и блевать, пока вся эта весьма мелочная лавочка не прикроется».

Однако не будем осуждать незадачливого некролога, тем паче что нижеследующий текст не может тягаться с вечернестолничной статьей ни точностью и обилием фактов, ни теплотой и благородством тона. Разве что объемом. Впрочем, и цель нашей заметки лишена босуэловского размаха: автор только добавит некоторые небезынтересные фактики и вовсе неинтересные собственные рассуждения к прочувственному портрету «прихотливого стилиста и тонкого лирика».

Николай Алексеевич Уперс родился 23.08.1950 года в Москве. Его мать — Арнольдина Николаевна Прину — обладала столь туманной бессарабской родословной, что высветить ее in details смог бы лишь какой-нибудь кишиневский Карамзин. Отец — Алексей Михайлович Уперс — был сыном эмигрировавшего в 20-х гг. в СССР хорватского коммуниста Михайлы Уперца из Дубровника. М. Уперц служил в Коминтерне (отдел поощрения и развития революционного процесса в балканских странах и Румынии); А. М. Уперс (которому осторожный папаша на всякий случай слегка скорректировал фамилию в целях, надо полагать, маскировки от всевидящего ока разведки югославского короля Александра) — в том самом «Советском Информбюро», от чьего имени лил чугунные фразы Левитан (не художник); Коленька же Уперс получал жалованье от «Moscow News» за переводы на английский перлов

отечественной контрпропаганды (обернувшись позже — как для самой контрпропаганды, так и для отечества — перл-харборами). Да-да, несмотря на прискорбное должностное падение потомка блистательного коминтерновского чиновника, падение, достойное «Саги о Сарторисах», Николай Алексеевич был вполне «ничего»: спецшкола английских уклонистов, загадочное учебное заведение им. Мориса Тореза (кого Уперс, по некоторым свидетельствам, обзывал «Морозом Торосом»), упомянутая гзбэшная газетка, наконец (выражаясь профсоюзным стилем) ненормированный (скорее в направлении нуля, чем бесконечности) рабочий день и хорошо оплачиваемый (в смысле, за минимум труда — не очень минимум денег) труд.

Его вполне благополучное существование омрачали всего два обстоятельства, две склонности: склонность к (официальным стилем) однополю любви и склонность к сочинительству. О первой не будем распространяться (хотя она наложила отпечаток на вторую: «Все эстеты — гомосексуалисты», — по чеканному определению Иосифа Франца Швейка), вторая же породила несколько поэтических сборников, отмеченных влиянием Анненского, Ходасевича и (увы! Анна Андреевна) Кузмина, а также изящную прозаическую книгу «Далматийский Кюстин», вызвавшую в свое время восторг знаменитого ныне Милорада Павича. Вся эта продукция была, как и положено, до известного срока опубликована Там («Кюстин» добрал даже до Анн Арбор, Мичиган), а после известного срока печаталась Здесь в разного рода эстетских журнальчиках от «Источника» до «Курьера Новейшей Словесности». Были в биографии Уперса какие-то вызовы *Куда Надо* из-за его встреч с *Кем Не Надо*, но эти обстоятельства не следует (вслед за автором «Некролога») чрезмерно педалировать. С конца 80-х гг. Уперс вновь имел возможность демонстрировать свои выдающиеся переводческие способности в экзотическом совместном советско-кипрском предприятии — сие предопределило, что не отечественные, а германские врачи оказались бессильными перед его внезапным нефритом. На могиле Николая Уперса (где бы она ни находилась) рядом с крестиком стоит дата: 15.04.1993.

Вот общеизвестные факты. Но есть кое-что, ускользнувшее от внимания безутешного автора из «Вечерней Столицы». Через год после смерти Уперса вышел в свет (почему-то нижегородский) альманах «Urbі», включающий цикл Уперсовых возмутительно гомосексуальных псевдоанонимных стихов «Апокрифы Феогнида». Подборка эта сделана в типичном для нашей постмодернистской эпохи стиле — с обширным (чуть меньше по объему самого цикла) предисловием публикатора, занятого (в основном) собственными стилистическими проблемами, и с витиеватым комментарием того же пошиба, автор

которого спрятался за псевдоним, состряпанный из симметризованных инициалов одного литератора царских кровей. «Апокрифы» привлекли определенный (чаще — вялый) интерес нескольких рецензентов. Георгий Чиж (газета «Половой» — орган нижегородской фирмы «Русский Трактирь») откликнулся гневной статьей «Такие вот нынче апокрифы...»; радиостанция «Освобожденная Евразия» устами Егора Жмуркевича сдержанно похвалила стихи усопшего автора, а критик З. Медноухов («Независимые Новости») в очередной своей рецензии на очередной номер «Urbt» посетовал, что под именем Феогида не выведен какой-нибудь антисемит, например, Солженицын. «Это, — пишет рецензент, — делает альманах безнадежно провинциальным».

«Апокрифы Феогида», напечатанные в «Urbt», безусловно, хороши, но дело в том, что упокоившийся Уперс сочинил их в объеме в два раза большем, чем это представлено в волжском альманахе. Нет смысла обвинять публикаторов в небрежении отсутствующей последней волей отсутствующего ныне автора. По своему разумению они создали, так сказать, «первую редакцию» «Апокрифов» и вписали ее (пусть пети-том) в ту самую «историю отечественной словесности», о которой волновался некрологист. Дай ей (словесности) Бог здоровья и счастья... Нетрудно догадаться: оставшаяся половина стихов составит «вторую редакцию». О ней и пойдет речь ниже.

Из разбора отвергнутых стихов складывается убеждение, что они есть недурной сюжетный цикл (может, рукою публикаторов водил Уперсов перст?), отличающийся от своего более счастливого собрата некоторой пляжностью, что ли, каникулярностью. Тема — та же: некий Феогид и мальчик Кири. И все, из сего обстоятельства вытекающее («Из кого и что там у тебя вытекает?» — кольнет меня загробного металла шпилькой Уперс). Но вот действие погружено в определенный контекст, приятный такой контекстик южного берега Крыма последних десяти лет жизни СССР. Не случайно. Не представить (почти) сих захватывающе-выхватывающих сцен засаживания где-нибудь в спальном районе Перми, в гнилой ноябрь, когда горячая вода в трубах остыла в 287 метрах от ТЭЦ, когда за окном — серь, на улицах — срань, на душе — сирь. Не представить. Для аттического маскулинного счастья истома должна быть сладкой, пот — сияющим, душ — работающим, солнышко — сверкающим. Вот шел однажды Платон по Афинам и заметил изящно сложенную поленницу дров. «Что за человек сложил так дрова?» — спросил основоположник идеалистической линии философии. Ему указали на (видимо, смущенного) ражего мужика. Платон взял его с собой. На обучение. Чем они там занимались — один Уперс знает, но

мужичина оказался Ксенофонтом. Мораль? Вот вам. Было бы холодно, не имей Платон пайка от ареопага, не посмотрел бы он на совершенство форм поленницы, а, напротив, оное бы разрушил, прихватив с собой пару деревяшек, а не героя малоазийских войн. И не стал бы Ксенофонт автором «Киропедии», а без «Киропедии» не было бы Кирна, не было бы Феогнидова «воспитания Кирна», Уперс превратился бы в Персик, Персик превратился бы в Носик, Носик бы утонул в Шинельке, Шинелька скуксилась бы в Тулупчик (заячий). А тулупчик — одежда зимняя, пермская какая-то. Да-да, прожорливый социально-географический контекст, чавкая, пожирает хрупкую эротическую суть, и нам ничего не остается делать, как сочинить эдакий советский лесбос-патмос, ну, я не знаю, скирос, там, или наксос какой-нибудь. Неважно. Роль этого мелкоостровчатого эгейского кайфа играет для российского сочинителя любая всесоюзная здравница на Юге: желтая Ялта, неприличная Алупка, бордельный Коктебель, наконец, вовсе греческий удивительный пригород потемкинской военно-морской деревни — Херсонес (кажется, что, переведя с эллинского «Херсонес», мы получим «Конотоп». Почему?). «И я был в Аркадии», — эту фразу можно выбить на памятнике любого совписа, некогда оттянувшегося по литфондовской путевке в Крыму. Да что там совпис! Сию Аркадию завоевал хилый русский ахилл Суворов; в нее, в нее переселял чичиковских зомби российский Гомер, сидя в итальянском далеке. А тот, который «наше все», не в каменистом ли сердце Тавриды разыграл фонтанную love story? Не там ли русский Леконт де Лиль, барбудос Вакс Калошин, парил над схваткой, устраивал культурный отдых Олимпу отечественной словесности, превратил бедную Лизу в Че Рубину? Я уж не говорю о бестселлере лучшего прозаика журнала «Юность»...

«Крымскость» — вот эссенция, которую расчетливый Уперс (по капле!) добавляет в тепловатую газировку типичных любовных ситуаций. Ну что, скажем, интересного, когда слегка увядшая аспирантка мордовского университета (специальность — русский язык в национальной школе, муж, двое детей) потным мисхорским вечером отдается молоденькому рихтовщику из Уфы? Фразы? Позы? Нет-нет, коитус самый банальный, я бы даже сказал — кондовый, но вот их, наших любовников, оголенность не от плавок и бикини, а от привычных социальных, сексуальных, национальных и т.д. связей делает то, что было до, и то, что делается, и то, что будет после (т.е. не просто «каждая тварь грустна после соития»), неким экзистенциальным всплеском, минитрагедией актеров из хора (да простят меня эллинисты), тем, что называется «курортным романом», авантюрой, дерзким набегом на Барсуковку,

летальным летом Лилиенталя, внезапным заплывом топора через Босфор, опьянением от глотка кефира. И не важно, что на туристском советском Юге «курортный роман» был неизбежен, как нынче православный поп на презентации; «курортный роман» каждый раз таит свою особую искру, свой оттенок: от голубого до розового, пусть источник сих искорок один — и вы понимаете какой...

И пусть то будет рихтовщик с аспиранткой, адвокат с вагоновожатой, балерина с боксером, дама с собачкой, дама с дамой или собачка с собачкой — искры всех возможных цветов влетают в бархатную южную ночь под заезженную фонограмму охов, чмоков, визгов, постановываний и поскрипываний, шороха простыней и ритмичного виолончельного соло панцирной сетки. А хищный Уперс сидит себе упырем на том шоу и высматривает искорки одного лишь оттенка. Голубого.

«Голубизна» уперсового сочинения — сюжетный прием, позволяющий возвести «крымскость» в квадрат, ибо гомо-, по отношению к гетеросексуальности, есть в нашей культуре, так сказать, каникулы, временное бегство от постылой обязанности любить обрыдших Татьян, Анн и Лиз. Ну что еще хорошего о них можно написать?

Проницательный читатель, верно, уже в нетерпении грызет ногти, готовясь гулко пульнуть в меня кособокой фамильей одного отнюдь не кособокого стилиста. Так и есть. Пульнул. Конечно, любовь к нимфеткам при таком коленкоре покруче будет презренных маскулинных утех. Но, любознательный мой, Вы заблуждаетесь, если считаете, что утерли нос покойному Уперсу. Не так-то просто. Да и нос у Уперса с репу.

«Памяти Долорес Скиллер», — красуется на редакции «Апокрифов Феогида», напечатанной в «Urbі». Хитроумный Уперс отыгрывает (из могилы) мяч обратно. Увернитесь, либо отбивайте. Вспомним роман Набокова. Там всех жалко и все умирают: и Куилти, и Лолита, и сам Гумберт Гумберт. В «Лолите» любовь несчастливая, так как у Набокова счастливой любви быть в принципе не может, ибо для него эстетически важен процесс желания, вожделения или (реже) воспоминания. Состоявшаяся любовь оборачивается запахом вареной капусты и пачулей, наливается жиром, вроде того, как костлявый Сирип превратился в толстяка Набокова (счастливо окольцевавшись с Верой); не зря он поменял худые вертикали букв «и», «р», «н» своего псевдонима на округлые «а», «б», «о», «в» родовой фамилии. Ганин счастлив воспоминаниями юношеских шашней с Машенькой, счастливо переживает будущее, но оную Машеньку на берлинский вокзал встречать не едет и (подпоив настоящего встречальщика, то есть поступив по сенно-собачьему принципу) тем самым оставляет ее, смазливую совбарышню в пальто от Москвошвея, в ужасе пялиться

по сторонам в окружении паровозного шипа и гавкающей басурманской речи. В «Даре» как бы счастливый роман не достигает завершенности — герои явно собираются под занавес заняться любовью, но... из-за обложки выглядывает еще худой Сирин, жмет им язык и заправским шоферским жестом подбрасывает в руке ключи от квартиры, в которую несколько наивно направляются Федор Константинович и Зина.

А что же «вторая редакция» «Апокрифов»? Уперс живописует любовь явно счастливую, состоявшуюся. Собственно говоря, ублаженный Феогнид мурлыкает весь цикл (ожидая новых ублажений), жмурясь на теплом южном солнышке:

*Кирн, люблю, когда, соскользнув с дивана,
ты летшишь к столу в промежутке между
«ах» и «ох»...*

Или:

*Ни к чему метафоры, отрок: раем
твоим, отзывчивым, твердым, тронут.*

Или:

*Ни молочной тянучкой молчащих уст,
ни волшебным устройством ключиц и плеч
не насытиться.*

Можно даже сказать, что Уперс сочинил некую «антинабоковиану» или (взяв карту иного масштаба) провел обморочно наглый рейд по тылам Русской Литературы (прошу прощения за двусмысленный «рейд по тылам»): в образцовом русском произведении любовный роман завершается коитусом; если же это событие происходит в начале (крайне редко) или в середине (как в «Бедной Лизе» или «Анне Карениной»), то герои все оставшиеся страницы жестоко расплачиваются за свою поспешность. Впрочем, чаще всего коитуса так и не происходит. «Я другому отдана».

Но не таково Уперсово сочинение. Оно действительно каникулярно: во-первых, потому что температура воздуха в Феогнидовой Аркадии не падает ниже +25° по Цельсию, и герои резвятся на крымской гальке (но не на Гальке, о чем наше «во-вторых»); во-вторых, потому что «Апокрифы» форсированно гомосексуальны (безумные проделки школьников в первые недели июня); в-третьих, взяв отнюдь не академический отпуск в деканате отечественной словесности, автор заставляет Феогнида и Кирна трахаться до, внутри и после хронологических рамок своего опуса. Наконец, в-четвертых. Написав «Апокрифы», Уперс сам отправился в бессрочные, самые бессрочные каникулы. И, если верить Сведенборгу, он сидит сейчас Там и сочиняет «третью редакцию» своего последнего произведения.

Кирилл Кобрин

ПОСЛЕСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

...Голубь этот не был синеватый, как
обыкновенные голуби... Воркованье его
было тоже иное...

Константин Леонтьев. Египетский голубь

...Они скорее похожи
на старших братьев.

Игорь Померанцев. Стихи разных дней

Не такова ль и дурная примета времени —
оцинкованные, дву-полые ведра диалогий, ка-
чающиеся на коромыслах вымыслов?

Николай Уперс. Констанца Юстициана

Оставляя на совести словоохотливого — похотливо охотящегося в заповедных угодьях словаря — автора «Крымских каникул...» его циническое высказывание относительно «стилистических пробелов... того же пошиба» («Погоже, „тошиба“?» — слышу здесь почти механическое отзвучие наивного Уперса, не замечающего, конечно, куда именно отсылает нас ядовитая кобринская псевдоописка), — «пробелов», якобы свойственных публикатору, — этот последний не может, однако, обойти молчанием явные несуразности, вкравшиеся в указанную заметку. Жизнеописание Уперса изложено там нелепо. История публикации «Апокрифов» искажена. Не говорю уже о тенденциозном истолковании самого цикла, ибо описанная резвым пером уперсолога клиническая картина отечественной «крымскости» (сравни, например, послание Пушкина к брату Льву от 24 сентября 1820 года) живо напоминает мне варварский пересказ скорбных писем Назона в «Скифской истории» Андрея Лызлова:

*Савроматы, и бетты, и гетты злая,
И прочия оные народы иные,
Вбегши на жарких конех в Дунайския воды,
Плавают ту и инде без всякия шкоты.*

Та же книга, лежащая сейчас у меня под рукой (а лежала любая другая — сгодились бы в равной мере), готова изобразить нам и, так сказать, гештальт «рая по Уперсу», как его разумеет сочинитель каникулярной записки: «Те же юноши, ижу служат самому султану, суть благообразны на тот чин выбраны и не един из них злообразен есть. И есть их ко всякой службе по тридесяти человек, наподобие: 30 тех, иже подают

ему исподнюю ризу...» Et cetera: от чалмы — до подошвы, от стеленья постели — до пометания пола.

У нас же такое трепетное доверие к уперсовскому слову вызывает только улыбку.

«Э, разве можно верить согласно-гласному перекату, рыку-адреналину дрянной адриатической сонной волны, сплину сплетника Сплита, дубравной дреме Дубровника? Спи же. Не спрашивай у меня: «В чем смысл вашей истории, герр Ясперс?» Нет никакой истории. Есть только Истрия, Сербия, Трансильвания... Краль Александр сменяет на троне краля Петра, проглатывая гордое крошечное княжество Монтенегро и крупнозернистые земли мадьярской короны, — он разворачивает справа налево орлиный династический профиль на грубо подешевевшем, утратившем свое аргентинское благородство диске динара. Заключительный Карл I-IV покидает порочный Хофбург. Впредь — только медь и никель. Nihil habeo вместо Viribus unitis. История завершается с исчезновением биметаллизма, и лишь пальцы досужего нумизмата ощупывают ныне ее барственный прошлый рельеф. Кто-то, кто-то украл скипетры восточных карлов и кралей!.. А ты — спи. Стоит ли верить в реальность лоскутного мира, в конгломерат далматийских пиратских скал, в заснеженные жалобные мечети Сараева, в бессмысленную пальбу хрестоматийного принца, наконец в этот умильный греческий крестик на голой, но целой еще боснийской груди — твоей, Данко? Ни прошлого, ни будущего. Ни веры — и ни безверия. Одна звериная зоология».

Эти сентенции Костеньки Юстина — торгпредского шелкопера и лирического героя уперсовской повести «Далматийский Кюстин» — кажутся мне весьма здесь уместными. Дове- рие к литературному тексту, повторю, рождает усмешку.

Но нет, не станем, пришпоривая фабульного жеребца, забегать вперед. Начнем с генеалогии, изложенной К. совершенно превратно. Черпая сведения из болтливых мимолетних газет и, может быть, из намеренно путаной аннотации к ардисовской брошюре, наш исследователь удосуживается ошибиться даже в самых основополагающих фактах. Справедливости ради замечу: особой вины его тут нет, а данные, приводимые нами ниже, стали доступными лишь в последнее время — и, как говорится, из первых (попавшихся) рук...

Николай Леонардович Уперс родился 23 июля (о, эти лишние кольца, вколачиваемые вслед римской виктории Юлия! Юлия <Юлио?>, подчеркиваю, — не Юния!) 1950 года в Потсдаме (предчувствую грозящую опечатку: в *Портсмуте*. Нет, и еще раз — нет!), где его отец Леонард Михайлович, известный в те годы также под псевдонимом Genosse Alex, занимался так называемой советнической работой. Мать Николая —

Альбина Принц (прозрачные для пронизательного ума метаморфозы иероглифов) — была чистопородной пруссачкой и заметной деятельницей эфдэета («Freie Deutsche Jugend»). Кстати сказать, именно сохранившиеся связи умершей в 1989 году Аллы Альбертовны с ее берлинскими юнгкамератами, а вовсе не сомнительные русско-турецкие возможности совпредприятия, сыграли главную роль в выборе Уперсом страны его последнего пребывания.

Нужно ли добавлять, что Leonhard Uperz — точно в таком, озвучивающемся как «Уперз», написании — появился на свет в конце трудного 1919 года в Констанце, на Боденском озере (бабушку Коленькину, скончавшуюся спустя несколько суток после рождения малыша Лео, по непроверенным семейным преданиям, звали Бригиттою Левине), а заключительный звук фамилии сербского (не хорватского, как выписывает бравой кириллицей наш с вами К.) интернационалиста-краснобригадника, скрывавшегося в момент появления первенца от полицейских ищек веймарского режима Эберта, смягчился впоследствии не вследствие (лет через сорок вы обнаружите этот фрагмент моего устающего уже предложения в учебниках русской грамматики) явно не свойственного ему малодушия, а как бы в результате дисциплинирующей партскромности, разве что чуть смущая Михаила Георгиевича в конце тридцатых («Уперс» — «Петерс»), но зато чуть утешая его в начале пятидесятых («Уперц» — «Перц») годов, уже на самом закате его — счастливой, конечно же, — жизни. Зареванный безразличным дождем гранит новодевической призмы лишь подтверждает этот давно устоявшийся серп и успокоительно констатирует: 2. I. 1953.

Таково подлинное родословие русского писателя Н. Л. Уперса. («Неопознанный Летающий Утис», поговаривают, расшифровывал он свои инициалы.)

Обратимся теперь к вопросу о происхождении двух «редакций» уперсовских «Апокрифов». Скажу сразу, что всяческие намеки псевдоавстровенгерского и мнимоегипетского Дубль-Ка (вряд ли ему удастся, <нрзб.> удалцу, спрятаться за академический эполет августейшего фетофила!) на какую-то «отбраковку... по своему усмотрению», на какое-то «небрежение авторской волей» совершенно беспочвенны и не стоят, как говорится, ломаного яйца.

Загадочным майским вечером, когда, прослышавши уже о кончине У. (недели за две до того радиообладатель финно-угорской фамилии, ловко попадающей в такт музыкальной заставке, предворяющей развлекательную, пивную, краснобайскобаварскую — «Прозит, камрад Уперз! Хох! Эс лебе Роте Байэрн!» — передачу, как бы смывающую жокейский ду-

шок с потного пастернаковского словослияния...) Стоп! Оставим маркодержателям эти синтаксические матрешки, скажем ясно. Предпочтем драхму дхарме...

Итак, измаянным вечерком, когда, прознавши уже о конце Уперса из юрких радиоуст, я вскрыл доставленный с почты пакет, — там, в пакете, кроме воспроизведенного в предисловии нашем письма, оказалась компьютеропись «Апофеог», для которой я тут же начал искать сговорчивого издателя. Это был, по терминологии г-на 2К, «первый вариант». Именно его, после ряда тщетно московских и безуспешно невских *полу-попыток*, мне удалось (я не знаю, кого тут кликнуть — Уперса? Хлебникова?.. Харитоновна!) *наконец* пристроить в прогорком и волглком городе, угрюмо уставившемся на лесбийское соединение величественных российских рек. Появлению публикации в скромном журнальчике, с почему-то трансильванским названием, немало способствовал остроумный нижегородский прозаик, вкрадчивый критик и вдумчивый лирик Л. Бринько, которому я и выражаю нашу с Уперсом запоздалую благодарность.

Лишь в октябре, когда номер «Urbi», хотя и овеществившийся значительно позже, был уже сверстан, в мои руки, — при обстоятельствах, о которых скажу ниже, — попал полный апокрифический текст, а равно и ряд сопутствующих материалов, в том числе иноязычная машинопись неясного происхождения — так называемые «Стансы Феогниду», укорененные ныне в отечественной словесности трудами А. Г. Машевского.

Таким образом, «Апокрифы» существуют в двух ипостасях: в авторизованном сокращенном варианте и в виде полного списка. Можно только гадать, предназначался ли автором для печати этот последний. В настоящем издании мы сочли, однако, возможным воспроизвести именно полный текст — со свойственной ему нумерацией восьмистиший. Как в «первой», урбской, так и в настоящей редакции текст дается без каких-либо сокращений, искажений или перестановок. Лишь своеобразная, скорей — безобразная, пунктуация Уперса несколько приближена к общепринятой.

Посвящение бедной девушке полному тексту «Апокрифов», как догадливо (отбросьте-ка это «до»!) пишет всепроникающий K. und K., коему неведомыми для нас путями попадают подготовленные нами материалы до их опубликования, действительно не предпослано. На его месте в машинописи прочитывается стертая карандашная надпись — «Светлой памяти Гумбольдта Гумбольдта», но, считая эту ремарку не более чем следом мимолетного уперсовского остроумия, мы ее, разумеется, не воспроизводим.

Как не воспроизводим и неизвестным образом вкравшееся на с. 4 оригинала невыносимое немецкое слово «Pferd», написанное на полях лиловым фломастером. И — затем чтобы закончить ознакомление читателя с графическими особенностями рукописей, укажем, что на титуле «первого» варианта, вероятно рукой самого автора, вместо обеих «ф» — после первого «и» и перед «е», изображены малоправдоподобные греческие орешки, или, скорее, даже как бы анфасы бескостых сомиков, коснеющих, например, на бесстыжих зарисовочках наблюдательного Костеньки Сомова; причем второй орешек значительно крупней первого.

А вот чего точно не знает наш проникательный уперсист — так это истории обретения нами части Уперсова архива. (По имеющимся у нас сведениям, фрагменты этого собрания находятся также у профессора Упсальского университета д-ра Рейнике Ласпу, который планирует в апреле текущего года провести в Упсале, Швеция, Первые Уперсовские чтения. Ознакомиться с упсальскими материалами нам до настоящего времени не довелось.) Но сейчас я расскажу и ее.

Первоначальная осень уж близилась к завершению, а заещанная нам «громоздкая картонка с рукоперсами» не торопилась. Преддверие октября, воспользовавшись внезапно возникшей возможностью, я прожил в Москве. Следопытство оказалось занятием непростым — знакомцев Уперса словно вымело нелицеприятной метлой новизны. Я почти отчаялся к тому часу, когда один из плохопреуспевающих эксмодернистов позволил мне наконец в предбаннике ЦДЛ списать полустершийся, ирреальный и уже даже похеренный адрес эмигрировавшего мертвеца.

Среднеазиатским радушием от едва сдерживавшего внутриутробный напор пассионария, отворившего мне дверь б. уперсовской квартиры, даже не пахло. Уразумев, впрочем, что столь флегматическое и ничтожное существо, как я, вряд ли имеет касательство к ведомственному или вневедомственному рэкету, черноусый чабан остыл. «Лэонарт? Атрэс? — переспросил он, почесывая волосатый, должно быть, бок живота. — Ниснаю. Атрэстнисснаю». Дверь энергично захлопнулась — и я понуро побрел к лифту. Всплывший висельник-вололаз успел уже приветливо ухмыльнуться мне вдруг осветившейся ряской, когда затвор газавата снова защелкал — и высунувшийся мамед проорал: «Эй, ты! Пышы! Тры! Восэм! Нул! Тфа!...» В порыве низменной благодарности я выхватил ручку и папиросную пачку.

Пальпирование указанных цифр положительных результатов не показало. Но расшифровать с их помощью координа-

ты гипотетического Леонарда, невзирая на его странное прошлое, оказалось все же возможным. Отставная солидность здания на углу Тверской и Садовой, а равно и бессловесно обитая нешуточной кожей дверь, перед которой я замер в час ближайшего полдня, уверяли, что цель близка.

Доигрывая в закоулках ума разветвленные варианты предстоящего заведомо безвыигрышного разговора и почти уже ужасаясь абсурдной невозможности отступить, оставляя в покое несчастного, мало того что потерявшего отпрыска, так еще и... да что говорить! — старика, я просигналил. Музыкально так промурлыкало.

Секунд через сорок дверь приоткрылась, показав в просвете босую ступню и псевдошелк псевдоспортивных штанов. «Што?» — любопытствовали чуть хрипло.

«Добрый де... Леонарда Михай...» — проговорил я — и осекся, поскольку это американское «хай» совпало в моем мозгу с осознанием того невероятного, но и неоспоримого факта, что лицо, до которого наконец дорос мой взор и на котором было написано малопривлекательное выражение какого-то возбужденного, или наоборот — заторможенного, отчуждения, какой-то эмоциональной факультативности, принадлежало... Денису. Сنيшься, что ли, ты, Тнисс?..

Ах, как жаль, как жаль, что я не писатель! Какая печаль, что не владею я навыками добротного сочинителя прозы! Уж я бы вам описал эту соскальзывающую беседу, этот возвышенно-унизительный бред, это вторжение трезвого хаоса в нашу пыльную, пьяную, пронизанную косым лестничным солнцем жалкую повседневность... Увы, придется довольствоваться заплесневелыми плошками дурной реалистической беллетристики...

«Леонард Михалыч уже умер, — с нескрываемой неприязнью к пролетной клетке и несомненным намерением тотчас смежить створки своей кожаной ракушки произнес рот Дениса. — Два ме...»

И тут, несмотря на предельную фантазмагоричность происходящего, а может быть, как раз благодаря такой невообразимости, я обнаглел.

«Стойте, Денис! — ручка двери при этом была зафиксирована мною в пространстве. — Вы вряд ли помните, но мы виделись в Ялте. Вы были с Николалеонардовичем... Два года назад. — (Сила противодействия равна была силе действия.) — Мне нужно с вами погово... Секунду! Это каса... издана работа Николая лео... Очень важно!...»

Бедный Денис! Какая досада красовалась на его славной мордашке!.. Разумеется, это теперь, постфактум, я так бодро иронизирую, — глянуть бы мне на тогдашнюю собственную свою физиономию. Тогда, в те терции бредовой борьбы за

хрупкие доли угловых градусов, моторность руки и речи, припоминаю, удивительно сочеталась во мне с почти зримым распадом мышления, ведшего себя на манер бесстыдно и грубо разворошенного муравейника, быстро растаскивающего в несогласованные и, вероятно, незначимые стороны разрозненные соображения, — вроде того, скажем, что вот как же странно было обнаружить катамита-Дениса (да полно — его ли?.. но нет: те же глаза, тот же рот, та же серебряная цепочка; прическа, пожалуй, другая — короче, короче, короче...) в осиротелой квартире сурового сталинского пенсионера, которому выродок-сын наверняка уж не мог завещать такое трепетное наследие, — ну, черт знает что, черт знает что...

Меж тем сектор возможного настолько расширился, что мне удалось втеснить Дениса в полуморок томной прихожей — и тут мышление снова совпало с речью:

«Я был вчера на Речном — и уж никак не ожида... встре... вас здесь...»

Выражение досады на энкаустической маске Дениса, насколько я мог рассмотреть, засты спиной лестничным свет, сменилось чем-то вроде позыва к осторожному ужасу, придав чертам мальчика значительную осмысленность. Так оживленно смотрят на сумасшедшего — не блеснет ли в его живописной кисти карманная гильотинка жиллета. Я тотчас сменил пластинку, начав с успокоительной, на мой взгляд, фразы:

«Я, да, хотел бы поговорить с вами о ваших взаимоотношениях с Николаеонардовичем, но нет, нет!.. понимаю — сейчас невозмо...»

«Да-да, завтра вы не могли бы зайти? — с детской надеждой пролепетал он. — Дело в том, что я очень за...»

«Нет! Я уезжаю сего... Мне нужно... Рукопись, которая мне... о которой... которую мне поручил издать...»

«Пусти руку!» — взвизгнул Денис.

«Прости... рукопись эта — у вас или у Леонарда Миха...»

«Какая рук-к-копись!» — хищно пропел юноша, гибко и грациозно открадываясь в глубь прихожей — тактически отступая, с очевидным намерением, разбежавшись, вытолкать меня вон из квартиры... Ах, как же он был, право, хорош — в разгоряченном, взвинченном, милитаристическом своем состоянии! Ягуар! Мцыри в барсовой шкуре! Тираноубиец!..

«А? — вдруг притормозил он свой хитрый маневр, чуть от этого покачнувшись. — Да... коробка какая-то для кого-то? Как ваша фами?.. Да-да... щас... тойте тут».

Не успел он, однако, повернуться к одной из дверей, уводящих в глубину квартирному Криту, как из-за другой, матово-застекленной, отчетливый и сладостный голосок Ариадны настойчиво и нетерпеливо поинтересовался:

«Ну, что же там, Деник?»

«Щас, щас! — еще более настойчиво и нетерпеливо отозвался Денис. — Это не он. Это за <...>* рукописью. Сейчас!..»

Ослепительный блеск потных лопаток, винтообразное исчезновение торса, лавина цусимской магмы из распахнутого Денисом кингстона... Тут только очи мои, вдруг утонувшие в зашипевшей сковороде рож, заметили, что на мальчике-то, за вычетом бегло и кособоко натянутых адидасов, пригрезившихся моему порочному (как прав, прав как друг наш А. М.!) зрению еще два года назад, ровнехонько ничего нет. Нет как нет.

А затем, уже не видя ни зги, но чувствуя ребрами собственными потертые ребра уперсовской коробки и слыша радостно-четкий щелчок замка, я понял, что в сущности нет больше и никакого Дениса, лопнувшего бензиново-радужным пузырьком, а есть просто, есть просто... Ну, скажем, есть просто очередная импрессионистическая картинка: стеклянная дверь закрывается — и мы видим на ней растворяющуюся тень Дениса, вернувшегося в комнату, заполненную до потолка топленым полуденным маслом. Молочные реки разобранной б-уперсовской постели. Кисельные берега персидских ковров.

«Прикол, да? Надо было не открывать. Но слава богу — это не он», — сказанного как раз достаточно для того, чтобы, мягко ступая по бережку, пересечь комнату и дойти до седьмого, кружевного, неба окна, подле которого, повернувшись к нам и к Денису спиной, стоит белокурая, ослепительная, розоватая, шелковая (не сбиться б со стилия переводных картинок), нагая, пушистая, бархатистая, теплая (даже чуть больше, чем нужно; но форточка уже приоткрыта) обладательница услышанного мною вопроса. Перловая раковина скинутого халатика облегает ее островные ступни. Волосы на затылке забраны вверх.

«Перепугалась?» — шепчет Денис в просвеченное окошком ушко. Тропическое касание эпидерм, нежное сжатие, сердцебиение.

«Но глупо же, — говорит она, учащенно, поворачивая прелестную голову. — Если бы даже... то что?»

Теперь Денис видит ее лицо — удлиненное, легкое, независимое. Глаза у нее — сказочные, листовенно-карие, калейдоскопические. Росистый пушок напылен над верхней губой. Виновато-ободряющая улыбка рождает ямочку. Даже две.

«Что б ты ему сказал?» — произносит она, и мы наблюдаем метаморфозу улыбки в усмешку.

* Одно слово — слишком прямолинейное прилагательное — выпущено мною по настоящему совету доброжелателей. — А. П.

«Успокойся», — делает мальчик нечто среднее между высказыванием и поцелуем. Движение его уст словно бы заставляет ее откинуться на угадываемое позади плечо — и рот Дениса перемещается к устью ключиц.

«Ты мог бы, между прочим, побриться», — как-то мечтательно произносит душистая незнакомка.

Но нам с вами не до ответа. Целуя — вместе с Денисом — родинку на отзвучавшей гортани, мы с удивлением видим, как наши разнеженные купающиеся ладони целомудренно прячут от наших глаз двоящуюся девичью грудь. Сперва в обороне занята вся десятка. Ведется медленное разыгрывание мяча, совершаются короткие пасы. Происходит постепенная концентрация сил. Чувствуется — с каждой секундой в команде растет уверенность. И вот наконец нападающая пятерка слаженно устремляется к воротам противника. Обходит одного, второго...

О! Какой красивый удар! Это — блистательный Малафеев!.. Поза Венеры, изображенная танцевальной парочкой!.. К сожалению, из нашей кабины не виден противоположный конец поля, где разыгрывается сейчас апофеоз спортивной баталлии, — земля ведь женственно круглая. Лишь осязающий пальчик Дениса, возящегося со своей сладостной виолончелью, мог бы порассказать нам, чем вызваны производимые ею звуки... Нет, все-таки гол. Гол! Превосходный гол мастера! Сейчас вы видите, как соратники поздравляют, похлопывают по плечу отличившегося товарища. Только далеко позади, в воротах, собран и напряжен одиннадцатый игрок — великий голкипер, несравненный Лев Яшин... Но вот его-то я, Набутов, вам и не покажу.

...Вижу, вижу ваше обманутое неудовольствие, хер милиц! Ну, извольте. Не желаете ли чего-нибудь англо-американского? О'кей?..

«Ой!» — испуганно воскликнула Лиза, почувствовав задом что-то крепкое, крупное и горячее.

«Не бойся, глупышка. Это мой фаллус», — звонко расхохотался Денис и дружески потрепал девушку по щеке.

«Фаллус?» — удивленно переспросила она, с любопытством поворачиваясь к мужчине.

«Да, милая, фаллус. Хочешь его потрогать?»

«О, да! — ответила Лиза, сердце ее учащенно забилось. — Покажи мне скорее свой фаллус».

Глядя на девушку полными умиротворения глазами, Денис развязал тесемку штанов. Штаны мягко сползли по его бронзовым ляжкам.

«Вот он, мой славный дружок, мой смелый зверек», — смущенно и нежно прошептал юноша.

Фаллус был большой и красивый. Он гордо стоял, воздев вверх головку, отливающую всеми цветами радуги. У основа-

ния фаллуса Лиза разглядела рыжеватое пламя лобковых волос. Сдерживая подступившее восхищение, она нерешительно протянула руку и осторожно погладила фаллус.

«О, какой симпатичный у тебя фаллус», — пролепетала Луиза.

«А это яички, — улыбаясь, шепнул Денис. — Попробуй-ка, поддержи их в ладошке».

«Яички?» — изумилась Елизавета...

Но шутки в сторону. Скажу так: считая и считывая носком и пяткой базальтовый альт ступеней, я вдруг осознал, что существует сто миллионов мыслимых объяснений реальности. «Вот в том-то и дело», — поддакивает мне пиволюбивый баварец, добытчик радио. Что бы там ни мудрствовал проницательный М., вставляющий бензиновый мотоцикл в потную от экологического седла промежность Ромео, апокрифы Уперса лежат совсем в иной области — в стороне от всей этой социальной ботаники.

И дело даже не в том, что «фото» хитроумного Уперса на поверку оказывается расплывчатым «человек», а в том, что «человек» этот норовит вступить в состояние зыбкого тождества с каким-то уж вовсе туманным «стиль»... «Шерше ля фам», — брякнули б чересчур прямолинейные Франсуазы... Но повторю: не в том дело, что «Кирн» малоотлично от «Керн», и не в том, что приятельница вувльволюбивого Вульфа якобы скучней эфемерного мальчика, высосанного из пальчика, из Уперсова перста. Все дело — в стилистической проблематике двух-трех слов, в попытке косвенного наделения именем двух-трех предметов — тех, что не успел назвать невинный Адам, сперва грубо отвлеченный от творчества пресмыкающимися соблазнами Евы, а затем и попросту изгнанный насовсем из словоизготовительной мастерской Саваофа. Пот и труд, знаете ли, — логосу не товарищи...

Так эти штуки и функции безымянными и остались, если, разумеется, не считать бездарных и несерьезных поделок медиков и татар. Вряд ли и Уперс, съевший на этом порядочную конан-дойлевскую собаку («Масса фосфора!» — цинично вставил бы тут фон-барон Штирлиц), достиг особенного успеха. Дело ведь — заведомо проигрышное. Точнее — безвыигрышное. И в этой тонкости вся соль. Почему? Да потому, что как раз очевидная безвыигрышность искусства оказывается залогом его трансцендентальной бесприкрытости.

В отличие от потных походов Александра Великого, «Апокрифы Феогнида» — игра настольная. Где теперь Македонец со своей некогда необозримой державой, а миниатюрные шахматы — вот они, в лакированном плоском ящичке, столь по-

хожем на книжку: раскрой — и высыпятся фигуры, персонажи, фабульные перипетии. А сегодня, кажется, и раскрывать не нужно, достаточно потрясти вещь искусства — и вот тебе барабанная дробь, мажорный маршик тридцативековой культуры. Кто этого не понимает, тот — сущий трагос. В чем козлиная песнь бедного Солженицына? Да-да, вот в этом... Тридцать столетий для нас проще тридцати фрикций.

*Мяч бросая пурпуровый мне, манит к играм меня Эрот
С этой резвой малюткою в разноцветных сандалях,
Но с Лесбоса она, увы, и не любит седых волос;
Вспоминает с тоской в душе о кудрях золотистых.*

Разве не дышат неисчезающей актуальностью эти архаические стихи نابокковского Анакреонта Анакреонта? К счастью, вне какой-либо зависимости от наших стремлений или нежеланий, параллельные, не имеющие ни одной общей точки, сливаются в бесконечности. Невероятно другое — как раз то, что Эвклидова геометрия просуществовала целых восемнадцать христианских веков...

При всей аналитической точности, благородной тонкости и полифонической стройности рассуждений нашего друга М., неадекватное сравнение им кукольного театра Уперса, разыгранного, в сущности, на десяти пальцах, с крупнопанельной драматургией Шекспира кажется мне весьма странным. Шекспир (из пира с Шексной!), конечно, выше пляжных шлепанцев У., он куда как кинематографичней. М. и говорит, по существу, о кино, о волшебном фильме, в котором — ослепительное юношеское воспоминание! — роскошная юная нагота разматана на все экранное полотно.

Вопрос только в том — в какой мере значимо для искусства (словесного, театрального) очаровательное и манящее жизнеподобие кинематографа? Ведь та сумасшедшая кожа, которая зафиксирована на целлулоидной пленке, создана не столько режиссером и оператором, сколько самим Богом. Не плагиат ли? А что ж мы увидим, вернув Шекспира туда, где ему и положено быть, — на нынешнюю заплесневелую и поклошарски костюмированную трагедийную сцену, на пыльные и поскрипывающие подмости?

Дело ведь не в жизненности и не в наших эмоционально-телесных симпатиях к скоропалительной веронской парочке — это чистой воды концепт рекламного ролика. Дело в искусстве, чьи возможности и интересы, как это ни парадоксально, неумолимо сужаются: от многофигурных композиций Высокого Возрождения — к сегодняшним микрофрагментам пейзажа. Если угодно, прогресс искусства выражается в том, что всякий последующий уперс заведомо уже любого предше-

ствующего шекспира. Разве что «тоньше», и потому легче рвется. Но ведь такова и природа глобальной человеческой экзистенции: чем дальше, тем более нечем дышать, — продолжительность жизни, однако, растет. Мне могут возразить тут, что-де это уже и не жизнь — в шекспировском смысле слова. А что такое Шекспир? Всего лишь книжка, стоящая у меня на полке: хочу — кликну, хочу — прогоню.

В искусстве нет ничего, за исключением текста. Думать как-то иначе, значит приглашать нас выйти из него вон — на вольный воздух пустого хэппенинга, вернуться к играм комедиантов, ежеминутно перевирающих слова роли. М. хитрит: перемещая задницу нашего веронского мальчугана на сиденье мотоцикла, он получает совсем иной текст — и, вероятно, совсем иного кентавра...

А мне хочется завершить это послесловие воспроизведением любопытного и, как мне кажется, уместного здесь документа, обнаруженного в «громоздкой» картонке Уперса. Он представляет собою две компьютерные страницы, содержащие два поэтических текста. На полях первого, покойнику, по всей видимости, не принадлежащего, рукой У. начертаны несколько строк — как бы вступительная ремарка.

«Милый Алим-акуленок — я послал ему месяц назад апофиги — дозвонился вчера до моего хамбургского автоотводчика. Вечером, чуть не плача, слушал, что он там наболтал. Потом старательно засушил — с помощью бумаги, клавиш и порошка. Сел оправдываться.

Неужели больше не звякнет?

1

*Неба лоскутик — сухой маргаритки
цвета, верней — сероватее даже...
Может, Вам выслать цветные открытки
с видами стен расписных Кукельдаша?*

*План, может, выслать гостиницы местной —
самой крутой, с описанием кухни?
(Вслед интонации этой нелестной,
Мрак Телефонный, пожалуйста, ухни!)*

*Вам интересен рассказ о вечерних
улицах города? — Темно-курчавы...
А передать разговорчики черни? —
Уличной — резки, салонной — сладчавы..*

*Нет, лучше вышлю Вам томик Саади —
мне он не нужен: хотите — читайте.*

*Вроде юнната я был в зоосаде —
клетку открыл: «Снегири, улетайте!»*

*О, разглядите на фото парнишку
в джинсах... Делончик! Как он покрывало
сбрасывал на пол, как нагло под мышку
лез мне и носом... А после нас рвало...*

*Что замолчали? Скорее же, бросьте
трубку, ругнитесь, как целый парламент!
Вязь шелковисту в разверстые горсти
Ваши вложу — мой восточный орнамент.*

2

*Шарик пинг-понговый — на указательный
палец, второй — на мизинец...
Жизнь, соглашаюсь, куда назидательней
кукольных этих гостиниц,*

*по образцу Образцова играемых
с пашькой — ах, образцовым:
смердным дыханием хамов и хамов
в пьяное дышит лицо Вам.*

*Что же все шепчете слово хмельное Вы
мне, с интонацией блядской,
над наготою склоняетесь Ноевой
в колкой шине ли солдатской?*

*Лапы еловые, звезды багровые...
Или не в жилу Ромео
Жуля-июля роса чернобровая?
Или — не pro doto теа?*

*А рассказать ли, мой ласковый плакса, Вам
на языке пэтзуюшном,
что приключилось с Делончиком слаксовым
вечером дачным и душным?*

*Как он постанывал, как он покусывал?..
Что он шептал, вроде сора?..
Ах, эта прядь — петушиная, русая —
и мотоцикла рессора!..*

*Изобразить ли Вам Ромку и Юлию
в зарослях около озера? —
.....
.....*

*Руки бесстыжие, очи незрячие...
Рай бы — когда бы не звуки!
Стыдные, липкие капли горячие
неотвратимой разлуки..*

*Смятой кислицы трилистник скукоженный.
Дальний позыв электрички.*

*След от улитки на курточке — пожатой,
сброшенной... чирканье спички...*

*Рев мотоцикла — под занавес вечера
между партером и ямой:
пальцы — на ребра, ключицы — на плечи, а
губы — в загромок упрямый...*

*Что-то лиловое, сине-зеленое —
мост крепостной, лупанарий...
Как с этим стерпится сердце каленое —
страхов и арий гербарий?*

*Как я тоскую по Вашему голосу,
таящему обещаньем...
Ах, не читайте... Лишь колосом к колосу
жаться бы — вечным прощаньем!*

Вот так... И остается добавить, что, кроме двух прозаических книг Уперса — «Далматийского Кюстина» (1985), переведенного на сербскохорватский (1986) и немецкий (1990), и «Констанцы Юстиниана», изданной в 1992 г. в Германии (немецкий перевод — 1993), ожидают переиздания сборники его стихотворений — «С черного хода» (М., 1987) и «Оды Горной Швейцарии» (Мюнхен, 1991). Не собрана его эссеистика, публиковавшаяся преимущественно в малотиражных и скоротечных периодических изданиях, а частью — неопубликованная: «Геодезия Гезиода» (1989), «Харя хариты: Е. Харитонов» (1990), «Сир Сирий» (1990), «Клио: клиника климакса» (1991), «„Вон омар — ап!“», или Пар Амонов» (1992), «Аполлон во мхах» (1992), «Непреднамеренное и неопознанное» (1993) и др. Вероятно, и упсальская конференция будет способствовать введению в исследовательский и читательский оборот неизвестных текстов Н. Л.

Складывается, как видим, довольно-таки тугой том, который, будучи тиснут, несомненно станет достойнейшим экспонатом сокровищницы новейшей отечественной литературы. Но это — дело недалекого будущего. Сегодня же составитель ощущает прилив радости от сознания честно выполненного задания, как сказано в сто шестьдесят восьмом уперсовском апокрифе.

*Город Святого Петра
5 марта 1994 года*

Алексей Пурин

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ НИКОЛАЯ УПЕРСА

Оды горной Швейцарии

Ecce G. Gece

I

Великие немецкие могилы —
В немом снегу: у мелоса нет силы
Вдыхать небес остуженный азот.
От Монтаньолы до престола Бога
Безропотна кремнистая дорога,
Ведущая пургу через Мюзот.

Гельвеция! Игра стеклянных бус!
Здесь заключен мучительный союз
Глубоководных Муз с сынами века —
Заложниками сна. И холодна
Почти бескислородная страна,
Построенная не для человека.

Но изумлюсь: простак Иоахим
В Давосе жил и воздухом сухим
Дышал упруго — яблоко из плоти, —
Столь ощутим, что нет тоски сильней —
С ним встретиться... пусть — в соннице теней,
В голубизне, в ослепшей позолоте...

Хвала тебе, Волшебная гора
Европы, где прохлада и жара
Соединились! Разума и чувства
Союз ненарушим среди высот
Единственно возможного искусства.

Мы пишем не для женщин и красот,
А для пространства внутримирового,
Но не дано трехкоренное Слово
Нам, вне себя, понять: Weltinnenraum.

Редает речь живыми небесами
Иных времен. Альпийскими лесами —
Льняным глащом — покрыт всемирный храм,
Крупчатой солью гибельных морозов.
Ежовой рукавицей стоеросов

Он — и повернут внутрь, к Иным Мирам.

Элизийский роман о Швейцарии горной,
 Ледяной безвоздушный Давос,
 Мы проходим тропой синтаксически-торной,
 Словно впавшие в анабиоз.

Нас ведет восхитительный старец — с сигарой,
 Улыбающийся, как дитя, —
 Добрый бюргер, ганзейский союз с Ниагарой
 Темноты заключивший шутя...

В царстве мертвого мы слюдяного ландшафта.
 И хитрец молодой среди нас.
 Группа праздных гуляк. Сеттембрини и Нафта —
 Правда в профиль и правда анфас.

А еще — простоватый румяный вояка,
 Странно схожий с другим молодцом,
 Прогревшим в бродячей России двояко-
 сексуальным форельным свинцом.

Или из дубоватых баталий Толстого
 Красной девицей выглянул он —
 Белокурый варьянт Николая Ростова,
 Верноподданный ветхих корон?..

Зачитаюсь... В саду нашем — хмуро и сыро,
 Австро-Венгрия пышногниющая астр...
 Но, увы: ни чумы, ни Платонова пира —
 Дверь не хлопнет, графита никто не подаст.

3

Глупый мальчик читает «Рорсог». Пеперкорном
 Я ему, вероятно, кажусь — стариком
 С размягчением нечленораздельным, в просторном
 Санатории высокогорном, — по ком
 С часу на час часовни кладбищенской Glocken*
 Прорыдают... Как нравятся пакле сырой
 Эти локоны, мышечных этих волокон
 Рай — отлаженный рой, марширующий строй!
 О, не то чтобы так уж люблю солдатню я,
 Но к железке влечет Ахиллеса магнит...
 С сострадательной нежностью пляжному ню — я:
 «Больше жалости!.. Думай: по ком он звонит».

4

Гляди: пирамидальные шинели
 Самодовольно-генеральских елей
 В широкое построены каре.
 Какая утешительная проза

* Колокола (нем.)

Написана узорами мороза
На их черно-коричневой коре!
Все это мне напоминает Гете —
Хрустальным звоном, блеском позолоты
И стужей безразличья. Говоря
По правде, я люблю его надменность,
Его придворность и несовременность,
Его стихи в мундире декабря.

Искусство, скажут, зеркало души.
А я скажу: ломай карандаши
И жги бумаги, ежели — и правда...
Притворная музыка Аонид
Мне душу не целит, а леденит —
Как исповедь... Поэзия — неправда.

Он был министром — внутренних дел
Всего земного, но недоглядел
За «Фаустом», как опухоль растущим...
Что знаем мы о вечно молодом,
Вечнозеленом и под вечным льдом,
Непониманье Бога вездесущем?

Есть истинно высокие созданья.
И их, как чистый холод мирозданья,
Вдыхать не надо, дабы ощутить
В них пребыванье вечности, которой
Мы безразличны, точно Парке спорой —
Домохозяйски прерванная нить.

5

В итоге плаванья сырого
Берем в порту пивной редут.
Так-так... Бавария, здорово! —
И ты, коричневая, тут —
Музыки дойная корова...
Но профиль Людвига Второго
Уже в таверне не дадут —
На сдачу с кайзерской банкноты
Расцветки северных зевот.
(Все венценосцы — идиоты,
Но Людвиг — славный идиот!)
Что помню? — Леверкюна ноты,
Полет валькирии... Вот-вот
Сопьюсь, испытывая зависть
К народной жизни площадной...
Хочу раздолий швабских завязь
Сравнить с блакитной стороной. —
Но доведет ли, заплетаясь,
До Мюнхена язык хмельной?

Верлибры на оккупированной территории

1

Только существительные и прилагательные
имеют какой-то вес,
только статичное
состояние вещества правдоподобно:
полумертвые бабочки и стрекозы
на склеротических листьях,
арфа песчаных дюн,
мертвый сезон на прибалтийском курорте.

Чашка с чаем
заледедела на темной веранде.
И дыхания спящих
почти не слышно.
Только в давнопрошедшем
терпим глагол, который когда-то
играл центральную роль.
Не перемещение вещей —
мир, но процесс
внутренних превращений.
Вроде распада.

Бронзовый диск растворился в пресном заливе.
Как хромосомы, дрожат
эпилептические пиявки
Шредингера и Гейзенберга.
Лимит дельта-тау стремится к нулю.
Кинематограф возвращается к неподвижности.
Немота
заполняет всякую емкость.
И больше не дребезжит
электронными переходами
полый сервант отеля.

2

Существование сводится к ощущению.

Если хочешь, войдем
в прокуренную шкатулку бара, оставив во тьме
конькобежный асфальт
и дождь —
в чешуе ювелирных крон,
напоминающих Генделя и т. п.

Ни к чему
нам уже высокие формы забвенья.
Нас спасает холодный напиток и ломкий ритм
полихлорвиниловой музыки, легкость пластмассы,
прикосновение к
полированной плоскости стойки.

Словно во сне —
неуместна всякая речь, несущая смысл. И то хорошо,

что вокруг говорят на чужом языке, что до нас дела нет никому.

Из филармонии и Домского зала
выползают чуждые нам эстеты.
Над развороченным портом еще багровеют
химические следы заката.
И ты, застыв,
думаешь: о, какой
кайф — перестать замечать
не только процессы,
но и субстанции.

3

Вещи исчезают. Вот и мне
в детстве слабый, выдохшийся запах,
как из антикварного флакона,
довелось вдохнуть —
и увидеть:
выцветшие глаза стариков и соль ресниц —
на лицах цвета мореного дуба;
их тысячелетние пиджаки,
рыжие от июльского солнца;
тусклые медяки —
в узловатых от скупости пальцах;
и — на скрипучем велосипеде
едущего сквозь душный сумрак —
вдоль железных дачных оград —
почтальона
в ржавом костюме плакальщика.
И еще:
полированный морион
плит, с прилипшими листьями клена,
на православном кладбище;
дым сжигаемых веток...
Понять:
неотвратима судьба
и тщетны попытки
удержать жжение времени
передвиженьем в пространстве.

4

Посреди бывшей столицы бывшего государства
в дождливом небе плывет
бутафория бывшей свободы.
И три звезды
могут символизировать что угодно:
срок выдержки коньяка,
или флаг
Соединенных Штатов Америки — после того,
как Мексиканские Соединенные Штаты —
в ходе тотальной войны —

вернут наконец
земли,
незаконно отторгнутые северным соседом —
и, продолжая победоносное наступление,
распространятся до Великих озер.
Свободный стих,
отменяя дисциплину мышления,
бодро ведет европейцев
в объятия улыбочивых братцев.
И все мы, все мы,
милые, глупые, пишущие, читающие,
плавающие и путешествующие, —
как Кузмин говаривал, Михаил Алексеевич, —
любим их, ждем их, надеемся на них
и устанавливаем в столицах своих государств,
крошечных — как островок
Карибаса де Барабаса,
штуковины,
упирающиеся в небеса,
чтобы им
было видно —
куда-с
идти.

Обитаемый остров

Памяти Вильгельма фон Глэдена

1

Сердце Европы уйдет в пядь,
Лишь опусти глаза
На сицилийскую наготу —
Сразу хмель и лоза.
Вымысел Севера ей не брат,
Правда ей не сестра —
Слаще кастрата она стократ,
Яростнее костра.
Ибо к ребру прикипел прибор,
Греческий лавр пророс
Пыльные кудри... Ау, плейбой! —
Вот где бутоны роз,
Вот где сплетенья пахучих тел...
Южная ночь темна! —
Жарко шепчи, заманив в постель,
Путая имена:
*Пусть мы с тобою — лишь пир баццл,
Блажь голубых небес,
Но Королевство Обеих Сцилл —
Жизнь. И с тобой, и без.*

2

Сицилийской ночью аргентум бром
 Превращается в серебро.
 И олифа юга пьянит — ребром,
 Набегающим на ребро;
 Холодком, стекающим к завиткам
 Кипариса, тиса, олив...
 И Парис в смятенье немом: рукам
 И прилив хорош, и отлив...
 Мимолетной жизни нагая мгла,
 Словно пыль, легла на стекло...
 Ах, любовь, ты — бабочка и игла:
 Горло сжало, крылья свело...
 Но листва взметенная шепчет: «Мучь,
 Истерзай совсем, теребя!..»
 Первобытный воздух в раю пахуч —
 Как подушка после тебя.

3

Птичий шорох ночи, и скрип, и стон
 Пустоты — волна на волну
 Набегает, ладит песок; затон
 Принимает в недра луну...
 Не затем ли, Пятница, ты спасен,
 Чтобы сотни смертей в одну
 Постепенно слились?.. Сочись, кокос,
 Еженочным Млечным Путем!
 И лети, мгновенье, что прядь волос, —
 Ибо жизнь — не гипс помпеянских поз,
 И всех сладких слез не учтем...
 Эльзевиров с альдами, как в кино,
 Не жaley — пусть темное дно
 Устилают... Здесь и вода — вино,
 Здесь страданье и радость — одно.
 Только тронь — и к длани прильнет Милан,
 Только дунь — и угли в пылу...
 Так в Эдеме вылепил Бог биплан,
 Подмешав пыланье в золу...
 Убери штативы, Вильгельм, в чулан,
 Пусть пылятся снимки в углу.

4

Как и ты, я дую в одну дуду,
 На бобах сажу, на азах —
 Я осой завяз в золотом меду,
 Утонул в зеленых глазах.
 Мне уже без мускуса воздух пуст,
 Без соленой кожи нелеп —
 Состоящий из горьковатых уст —
 Мир... не знаю: хлеб или склеп?..
 Но легко в египетском мне плену —

Целокупны залежи вод...
Спеленают нас, просмолят. Ну-ну.
А пока — ложись на живот!

5

В деревянной лодочке буду тлеть
И в огне геенском пылать.
Но куда — птичка стучится в клеть,
Золотая зыблется гладь
Подо мной, лопатку вминая в грудь;
Путь в двойной лазури лежит;
И сырая Вечность — живей, чем ртуть, —
В отворенных недрах дрожит;
Паруса вспухают, слепит весло
Превышеньем мыслимых смет...
Берегам, к которым нас занесло,
И названья, знаешь ли, нет.

6

Центифолии, ириса, лилии,
Розы слаще — а имени нет...
Шелест Тайны — в бесплодном усилии
Оприходовать темный предмет.
Ding an sich ли, противник Иакова,
Зуд бессмертья, вместилище смут?..
Лишь *Никто* и *Ничто*. Одинаково
Туповаты — и Кант и Талмуд...
Имманентное Слово, подобное
Языку, ты не термин — притин.
Таорминские гермы надгробные —
Лишь дефекты туманных пластин.

7

Часть юноши... Но нет, он целокупный —
Он куплен целиком...
По-крупповски, Вильгельм, была ль расплата крупной —
За завитушки под пупком?
Часть юноши... Но выбрать ту иль эту? —
И там и тут — огонь!..
И с Гумбертовой мордью монету
Сжимала жаркая ладонь.
Цикады тикали, и море нарывало;
Темно, а звезд не сосчитать...
И тезку-кайзера, в Берлине, волновала
Военнослужащая статья.

8

Лес стрел и гаубица — с ядрами,
С на палке поднесенной паклей...

И льны военными театрами
Становятся — и сны, не так ли?
Дрожа, мечтаю о победе я —
Пылая, жажду поражения...
Увы, все та же «Киропедия» —
Движенье до изнеможения! —
И ни Эллады, ни Италии,
Ни Дрездена, ни Амстердама —
Лишь фотовспышки и инталии,
А после — гибельная яма.

9

Амнезия гимназия, жженье магнезии,
Гипсогластика мрачных бодлеровских школ...
Или где-нибудь в диком раю Полинезии —
Безымянным колечком — безлюдный атолл?
И любовного там идеал треугольника:
Я, пустой Океан беспросветный и ты —
Шоколадный соблазн молодого невольника,
Млечный Путь в Никуда — как итог наготы...
Там граница двух сред, загораясь шафраново,
Помечала б сердечного ритма реприз...
Что-то вроде холста Александра Иванова —
Мы и Он: Гиацинт, Аполлон, Кипарис.

Рефлексии

1

Твой влажный всхлип из обессиленной,
Когда переверну я, плоти...
Как быть России с Абиссинией —
Лишь ангелы у них в приплоде?
А нет границы — оккупация
К чему? Материки не сдвинешь...
Хочу навек в тебе остаться я —
Но нет! — разгром и бегство. Финиш...
Вотще, щекой пылая в лоне, я
Ищу лесу в лесу вопросов:
Ты — в лучшем случае — колония
Моя, не рай великороссов...
Терзая липкое, горячее,
Грядущим пахнущее тело,
О воплощенье чуть не плачу я —
О том, что вот не захотела
Явить нам это утешение
В живом обличье Диотима:
И цель вторженья — поражение
Противника и побратима...
Секундомерами объятие
Сердца расчисляли, тикая.

Но тел летящих сораспятие —
Лишь спуск пустой за Эвридикою...
Непознаваемая скиния —
Любовь, сакральное незнание.
А лир не слышали — ни ты, ни я, —
Лишь всхлипыванья и стенания.

2

Не лиры гребень черепаховый,
Не щит сверкающий Ахилла —
Лишь слипшийся черничник паховый
И в нем таящаяся сила —
Горящее сосредоточенно
Эпира солнце золотое...
О, сколько горечи проглочено
Морской! Люби меня, не то я
Умру — и, замертво, сокамерной
Тоской сойду в каменоломню:
Подросток с ящерицей мраморной —
Из Лувра, кажется, не помню...
В колене согнутой, откинутой
Ногой и пальцами вдоль флейты —
Побудь со мною в опрокинутой
Стране, наживки не жалеи ты!
В зеркальном плавали затоне — я
И ты, меняя положения...
О, рыбки вынутой агония,
Лесы живое натяжение!
Когда внутри тебя от неги я
Сорю звездами, умирая...
О, червебожая стратегия,
Фортификация сырая!..
Любовь, — а я вернее версии
Не представляю, — амальгама:
Объятья Греции и Персии,
Титаномахия Пергама.

Secessio

По климату сукно английское? Едва ли.
Лидвалю холодно в серебряном снегу.
Но эта лестница, где нас поцеловали
Айдесской порослью, цветущей на бегу, —
Словно промытая в податливой породе,
Ладони вторящая, счастье для ступни,
Плавно ведущая на каждом повороте
Плечо... «Возьми меня», — запальчиво шепни
В горящем вермуте мальчишеского стиля,
Огромноокого, прогулками у рек
Широкодышащих возвращенного... (Ни Диля,
Ни Штука!) — Выдохну взволнованно: «Навек»

Но, впало-выпуклая калька Идеала,
Эпюр божественный, немеркнувший Эпир,
До нас, обманщиков, Лидвалю дела мало —
Все превращается в барокко и ампир:
Эфир сгущается — и кожу ткань скрывает,
Мечом архангельским из рая гонят прочь —
И вот в безмыслии блаженства вызревает
Когитоэргосумчатая Ночь.

Обмен, или Полупослания

1. Чужестранцу

Как с холста небесный взглянул Меняла —
Так вино и стало виной:
Чем заплатим мы за дугу канала,
За свеченье ночи хмельной?
За пустую римскую прию о Сыне?
За дородно-зримый, к стыду,
Шорох речи?.. Чую: влекут к осине
Поцелуи в темном саду...
Но зачем Ты в наше сошел болото,
Где любой собою лишь пьян,
Где терпима разве что позолота —
Жаль, не мальчик я Иоанн...
Где серебрянки звяканье — райских арий
Обрывает тщетную нить?..
Укажи-ка, Господи, на динарий,
Чтоб я понял: нечем платить.

2. Книголюбу

Там, наверху, где кончаются кроны, —
Как лицемерье листвы, травести
Хвои, внутри глинобитной короны,
Заросли книг начинают цвести.
И хлорофилл целлюлозных волокон
Око слепит миллионами ватт,
А заливающий череп из окон
Свет — основательно подслеповат...
Не потому ли так сладок и хмелен
Мир, что обману подобен обмен:
Снежной сиренью намылен Емелин
Летней зимы тополиный дольмен?
Метафорический, взятый незнамо
Где, алкоголь!.. Но придонней травы
Помесь Ивановской башни с «Динамо»
В семиотической яшме Москвы.

3. Снежному Фебу

Потолок мелованный; гипс, газетой
Пожелтелой скрытый, — уста Сократа...

Никогда я не был на башне этой —
У глаголокрада, у Словократа,
Заигравшегося с италийским ладом
До слепого лоска слоновой кости...
Но знавал другого, который рядом
Жил. Ходил, когда приглашали, в гости.
Пил вино сухое. За розоватым
Наблюдал, не слишком палящим, тленьем...
Аполлон в собольих мехах! Слова — там,
Где печным положено жечь поленьям...
Знаем, знаем, нынешние форпосты —
На границе Юты и Колорадо.
Как стоит? Розово? Полноросто?...
Или Риму ваша душа не рада?
Что ж огню завидовать, хоть он цветом
Колористу-лакомке не по вкусу?
Помечтайте лучше, как вы с приветом
Не придете к чукчам, чухне, тунгусам...
Обижался я за одну *вещицу*.
Оказалось: что уже там, цветочки! —
Голубеть по моде подснежник титциса,
Распустившись. Алые лепесточки —
Героичны, розан на циферблате...
Прикажите, что ли, сыграть на флейте...
Подскажите, как же мне, Бога ради,
Умереть, чтоб нравилось... не жалейте.

4. *Собрату по Пиру*

Латынь хоть кое-как, а греческий не в силах
Усвоить — вязь эта всей Азии родня:
Комочка ватного достанет в Фермопилах,
Чтобы удерживать в неведение меня.
Мне только римские шагающие знаки,
Шиты несущие в железном кулаке,
Знакомы жесткие... и чудища в Карнаке...
К лозе аттической руки тяну в тоске.
Увы, мне пенне постыдное со сцены,
Каприйской месиво кровавое души
Яснее демоса, — ведь ниши Демосфены
Так и не выплюнут до смерти гольши...
И наши юноши все как бы одноноги:
При том, что каждого легко перевернуть,
Всяк — в целом — Сцевола, на пламенной треноге
Ладонь сжигающий: так трусит протянуть.

5. *Адресату в провинции*

Ремешок моста, словно из сексшопа
Взятый, съехал на островок небритый...
Так и хочешь щелкнуть курбетом — «оп-па!»
Ап-па!» — Волге, стыдно с Окою слитой.
Заводские трубы, — что взвод служилых,
На музейных ню розовато-сонных

Распустивший нюни, — с Надымом в жилах,
Распирают синьку небес кальсонных...

Нежный Нижний! Да: тем нежней, чем ниже.
Русский Лесбос, юз цветовода злого...
Но не так ли кожу чужую лижет
Наш язык, как нежит и нижеет слово?

Так... Скользи ж в межсапфие тихим сапом —
Сиротой казанскою хлюпай, чтобы
Бэби обе жадным достались лапам,
Весь соблазн — и Азии и Европы!

И скажи кириллицей напоследок:
«От Амура хмурого до Онеги
Я, имевший лексику так и эдак,
Монумент чудовищнейший exegi».

6. Лирнику

Застя дурманом сознание и дымом
Чужезычия выставив слух,
Только и можно представить любимым
И дружелюбным мирок оглеух —
Сумрак *тосканский*, обид *тристиарий*,
От часу к часу чернеющий свет...
Сердце, тебя ль несводящихся арий
Убережет леденящий дуэт?
Чем черноморским качаниям хора,
Пеннорождениям порожных Камен
Мог бы ответить я, кроме укора,
Неравноценный лаская обмен?

7. Кифареду

Тираноубийцы — в Эвклидовой клетки,
Мы глазоторвать от червивой земли
В саду не могли... Параллельные эти
Скрещались, зрачки опалая, вдали...
Когда бы, слепец, геометрии глупой
Поверил, на злости и доблести ось
Тоску нанизал я... но, слитые лупой,
Лучи прожигали бумагу насквозь.
Пусть зависть тому остается на долю,
Кто держится маленькой правды дневной —
Маршрута зерна — и ласкает неволю.
А мы погуляем по Волкову полю —
В обнимку, строфой неделимой одной.

Публикация и подготовка текста
Алексея Пурина

5. UPERSIANA

К ФЕОГНИДУ

Памяти Николая Уперса

I

Александр — другу Феогниду:
Перечел твои я анти-гномы
(Анти-крохотки, — добавлю я в обиду
Великану), антик, голый ты мой гомо,
Утвердитель твердого гномона,
Что отбрасывает, время исчисляя,
Голубую тень на Аполлона,
На Еленюлюба-Менелая.

II

Как там Кирн в краю своем раскосом
Поживает, персик твой (во мне вскипает
Кровь персидская)? Надеюсь, пчелам, осам
Не достался он? С кем нынче засыпает?
Гладко вылеплены (а могли ведь — гадко,
Ибо гипс, я думаю, скользил — ах!)
Восьмистишия. В них более порядка,
Чем порядочности в нильских крокодилах.

III

И продолжу: в них прекрасного порока
Меньше, чем гетер в спартанских школах;
Чем надерганных из бороды пророка
Волосин; чем всех охотников бесполох
За Хоттабычем. Ибн вашу мать, о, траха-
тибиддоха праведники! Право
Выбора — сильней оглядки, страха.
Феогнид, тебе кричу я «браво!».

IV

Я бы рад поставить андрогинный
Над собою опыт — и так далее,
Да в законном браке с половиной
Состою. И более к Наталье

Я тянусь, когда магнит Эрота
Напрягает вялое железо,
И смотрю на юношей с зевотой,
Феогнид, без прикладного интереса.

V

Но, пожалуй, и у нас пересеченья
Точка есть (точнее, — дочка): оголи ты
Перед нею душу! Все мученья —
От нее, от легкой бабочки Лолиты.
Ловкокрылой книги этой створки
Сложатся — рисунком внутрь; снаружи —
Пошлости лишь серые задворки
Злой зоил при этом обнаружит.

VI

Пусть предъявит счет тебе Эрато —
За Эрота, Феба и эфеба,
Ей виднее все трои еггата
(Плоть Платона — да увидит небо!).
Остальное, думаю, едва ли
(е4?) важно. Аониду
Я терзать не буду больше. Vale!
Александр — другу Феогниду.

1994

Александр Леонтьев

До свиданья, лето... Прощай, прощай!
За окном — гостиница; синева
потемнела, кажется: это чай —
тот, что я не допил... Едва
ли все так же будет, — живой жасмин,
Петербург, июля великолепный зной, —
ах, Танат когда и за мной, за мной
поспешит, верней — Томас Манн (Кузмин?)...
Ты боялся, милый, спугнуть листок
с той плиты, за изгородью живой? —
Прикоснись ко мне, но взболтни желток
петербургской ночи: я — твой.
...Окунулся в нежное — с головой! —
голубка восточного нежно сжал,
повторял: «Горячий какой, живой...
Я хочу, чтоб ты ворковал, дрожал...,
поперхнулся б капелькой дрождевой...»
Доказать мне чем еще, что — люблю?
Объяснить мне как еще: «горячо»?
Миноносцу-тертому-кораблю
легковесный парусник — по плечо.
Сколько лет вот так я не плыл, не жил —
так светло, прозрачно, так хорошо!
Самолетик в небе парил, кружил,
зависал и падал... — Еще!
Танцевала девочка — черт в трико! —
Зелены ли взоры у аонид? —
у нее — зеленый... и нам постоять легко
у Столпа-со-ангелом, Феогнид!

1994

Публикация Алексея Кирдянова

Содержание

1. АПОКРИФЫ ФЕОГНИДА

*Публикация, предисловие и подготовка текста
Алексея Пурина*

5

2. СТАНСЫ ФЕОГНИДУ

Перевод и послесловие Алексея Машевского

71

3. МАРГИНАЛИИ

Апокрифический комментарий к «Апокрифам Феогнида»

89

Кирилл Кобрин

Крымские каникулы Николая Уперса

92

Послесловие составителя

98

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения Николая Уперса

Публикация и подготовка текста Алексея Пурина

112

5. UPERSIANA

Александр Леонтьев. К Феогниду

(Из архива Н. Л. Уперса). Публикация Алексея Кирдянова

125

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Приглашая Вас, «ТЕННИС-КЛУБ» ставит перед собой следующие задачи:

- организация отдыха членов клуба, их семей, а также приглашаемых гостей;
- организация теннисного сервиса для членов клуба;
- расширение личных и деловых контактов членов клуба.

Для решения этих задач «ТЕННИС-КЛУБ» предлагает:

- все шесть кортов стадиона;
- душевые, сауну, кафе, магазин;
- соревновательную программу (турниры, матчи и т. д.);
- тренировочные занятия и другие мероприятия.

Вступившие в клуб пользуются следующими правами:

- играть на клубных кортах в любое время;
- пользоваться бесплатно сауной;
- получать бесплатно консультативную, учебно-методическую и практическую помощь от администрации и тренеров клуба по вопросам тактики и техники тенниса, подбора и ремонта теннисного инвентаря;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в клубе, соревнованиях, встречах и т. д.;
- участвовать в собраниях клуба с правом голоса.

Основанием для приема в члены клуба является рекомендация двух постоянных членов клуба либо его администрации.

Лица, внесшие значительный вклад в развитие клуба, оказывающие клубу финансовую, материально-техническую, политическую поддержку, становятся почетными членами клуба. Почетные члены клуба пользуются всеми услугами в первоочередном порядке и имеют право на бесплатное размещение рекламы на территории клуба.

Зимой — аренда крытых благоустроенных кортов.

Издается собственный журнал «Теннис-клуб».

«ТЕННИС-КЛУБ» ждет Вас!

Контактные телефоны: (812) 235—1791, 233—4864